МУЗА ДИАСПОРЫ

МУЗА ДИАСПОРЫ

Муза Диаспоры

Муза Диаспоры

Избранные стихи зарубежных поэтов

1920 — 1960

Под редакцией Ю. К. Терапиано

ПОСЕВ

Printed in West Germany

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

«Избранные стихотворения зарубежных поэтов 1920—1960 годов» отнюдь не являются антологией, дающей подробную картину состояния всей зарубежной литературы за сорок лет ее существования.

Настоящее собрание имеет более скромную задачу.

Наша цель — представить лишь главнейшие течения в зарубежной поэзии, их стиль, в основном, их идеологию.

Силой событий зарубежная литература разделилась на два периода.

С начала эмиграции (1920—1939 гг.) ведущим течением была так называемая «парижская нота».

После войны, то есть с 1945—46 гг. в лице поэтов «новой эмиграции», а также послевоенного поколения молодых эмигрантских поэтов, в общее русло влились новые силы, что с течением времени привело, — примерно в пятидесятых годах, — к новому стилистическому и идеологическому синтезу.

Составитель стремился в главных чертах представить оба эти периода, выбирая все наиболее характерное для каждого из них.

Под именем: «зарубежные поэты» мы подразумеваем поэтов, творивших вне России, в различных

странах нашего рассеяния и принимавших активное участие в жизни зарубежной поэзии.

По этой причине, из числа поэтов дореволюционной эпохи, оказавшихся в эмиграции, а также начавших печататься еще в России, хотя бы во время революции, составитель включил в это собрание лишь тех, кто не только повторял себя в эмиграции, но и творил действительно новое.

О ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ 1920—1960 ГОДОВ

Сорок лет существования зарубежной поэзии — целая эпоха в истории русской литературы, эпоха, созданная революцией и гражданской войной, закончившейся исходом 1920 года за границу сотен тысяч русских людей, постепенно рассеявшихся по всем западным странам.

Отказ вернуться на родину некоторых писателей, легально выехавших за границу в начале двадцатых годов, и высылка из Советской России большой группы писателей, философов, ученых и политических деятелей в 1922 году влили в эмиграцию новые квалифицированные силы и способствовали повышению ее авторитета на Западе.

Русская эмиграция так называемого «довоенного периода» (т. е. с 1920 года до начала Второй мировой войны в 1939 году) создала в Париже самый большой и богатый культурными силами зарубежный центр.

Менее многочисленные и менее богатые культурными силами русские центры образовались в Чехословакии (Прага), в Югославии (Белград), в Германии (Берлин), в Латвии (Рига), Эстонии (Таллин) и в Северной Америке (Нью-Йорк, Сан-Франциско).

Дальневосточные центры русской эмиграции (в Китае), в силу своей удаленности от Европы и Северной Америки, не могли участвовать в общей жизни эмиграции на Западе, хотя там было много культурных и талантливых людей.

В условиях эмигрантской жизни, казалось бы

столь далекой от поэзии, произошло непонятное явление.

Люди, потерявшие родину, принужденные ради заработка переключиться на тяжелую физическую работу, усталые, разуверившиеся в том, что прежде казалось им незыблемым, вдруг почему-то стали интересоваться поэзией.

С самого начала эмиграции в Константинополе в 1920 году, в «Русском Маяке» на улице Брусса, учрежденном для русских эмигрантов американской секцией «Союза христианского юношества», возник первый кружок поэтов, и самыми посещаемыми собраниями стали те, на которых читались доклады о поэзии, а также — выступления поэтов.

Затем, после разъезда из Константинополя, объединения поэтов начали вырастать повсюду — в Праге, в Белграде, в Берлине (в первые годы эмиграции Берлин был как бы передаточным пунктом для приезжавших из России) и, конечно, в Париже.

В 1925—1926 годах, помимо значительной части эмигрантской литературной молодежи, в Париж переехали почти все крупнейшие писатели и поэты «старшего поколения», находившиеся в эмиграции, благодаря чему стала возможной преемственность, возникла органическая связь между дореволюционной поэзией конца «Серебряного века» и поэзией новых пореволюционных поколений — недавно прошедших во время гражданской войны через крушение не только материальных, но и многих духовных ценностей прежнего мира.

Именно благодаря этой встрече поколений, русский довоенный Париж мог сделаться столицей зарубежной литературы.

В атмосфере Парижа, еще более обостренной непосредственной близостью европейской культуры,

не только молодежь, но и многие «старшие» получили новый импульс.

Зинаида Гиппиус, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич и Марина Цветаева стали не только «продолжать себя», но и творить новое, идти в своей поэзии вперед, несмотря на оторванность от России, от родной почвы.

Я не буду подробно касаться в этой статье истории зарубежной литературы.

В книге «Русская литература в изгнании», вышедшей в 1956 году в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова, Глеб Струве охарактеризовал все этапы развития зарубежной литературы в течение первого, «довоенного» периода ее существования.

В моей книге «Встречи», вышедшей в 1953 году в том же издательстве, есть тоже кое-что, относящееся к истории зарубежной литературы.

С самого начала в эмиграции было не мало скептиков, считавших невозможным какое-либо самостоятельное бытие, а тем паче — развитие литературы за границей, в эмиграции.

«Оторванный от своего народа, от русской природы и быта, слыша вокруг себя повсюду чужую речь, эмигрант в лучшем случае может сохранить свой язык, но никогда не будет в состоянии состязаться с писателем или поэтом, находящимся на родной почве», — говорили они.

«Единственная возможность для эмиграции — охранять прежние традиции; наша миссия состоит в том, чтобы впоследствии, когда изменятся обстоятельства, передать прежнюю культуру пореволюционным поколениям».

В те годы футуризм и другие «левые» литературные течения царили в Советской России, гремел Маяковский, затмевавший даже Сергея Есенина,

хозяйничали имажинисты и другие направления, вплоть до знаменитых «ничевоков», отрицавших в поэзии все — и смысл, и форму, и всякое подобие искусства, с которыми Андрею Белому, вернувшемуся в Советскую Россию, и Валерию Брюсову приходилось вести нелегкую борьбу.

В эмиграции же, с самого начала, создалась другая атмосфера.

Мужественная смерть Н. Гумилева, расстрелянного в 1921 году по делу о Таганцевском заговоре, создала новый ореол вокруг возглавлявшегося им акмеизма.

Гумилева начали утверждать не только как поэта, но и как политического борца-поэта, рыцаря без страха и упрека, а его стиль — и вообще акмеистический стиль — сделались на время отличительным признаком зарубежной поэзии, как бы чертой, отделяющей то «прекрасное прошлое нашей культуры, которое мы унесли с собой в изгнание», от «революционной свистопляски и всяческого безобразия», процветающих «там».

В первые годы эмиграции оппозиция левым течениям в поэзии (как дореволюционным, например, футуризму, так и послереволюционным) являлась обязательной для зарубежных поэтических идеологов.

«Хаосу» — формальной левизне, переходившей подчас в заумь и в явное издевательство над русским языком, противопоставлялся «Космос» — неоклассицизм, связь с золотым веком русской поэзии и, конечно, акмеистическая вещность и ясность.

Владислав Ходасевич в «Тяжелой лире», вышедшей в 1923 году в Берлине, считавший себя «последним символистом», был первым, кто открыто выступил за рубежом против «Хаоса»:

...И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

— «Жив Бог! Умен, а не заумен / Хожу среди своих стихов» — восклицает он в другом стихотворении из «Тяжелой лиры»:

...Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий,
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я — не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык...

Это отталкивание от Хаоса стало первой отправной точкой идеологии большинства зарубежных поэтов.

Немногочисленные последователи «левизны», среди которых на первом месте в эмиграции оказалась затем Марина Цветаева, принуждены были идти против господствующего течения — и до сего дня остаются в меньшинстве.

Следует вспомнить, что аналогичный процесс, с опозданием приблизительно на десять лет, совершился и в Советской России.

Реакция против Хаоса произошла и там.

Правда, в известной мере она шла со стороны власти, но все же недаром такой замечательный поэт, как Борис Пастернак, добровольно и открыто стал на сторону Космоса в своей книге «Второе рождение», сознательно упростив с того времени свою поэтику.

Марина Цветаева, как верно заметил Борис Зайцев, эволюционировала в эмиграции в обратном направлении.

В то время как Пастернак шел от сложности к простоте, Цветаева все усложняла свою поэзию, шла веку наперекор, что и явилось причиной ее творческого одиночества в эмиграции.

> ... Так, наконец, усталая держаться
> Сознаньем: долг и назначеньем: драться
> — Под свист глупца и мещанина смех —
> Одна за всех — из всех — противу всех,
> Стою и шлю, закаменев от взлету,
> Свой громкий зов в небесные пустоты...
>
> *(«Роландов рог»)*

Это расхождение зарубежной поэтической направленности с Цветаевой очень показательно.

Цветаева, с ее чувством слова и огромным ритмическим диапазоном, убежденная, что поэзия — прежде всего звук, была бурей, натиском, словесным вихрем — иногда переходящим в вопль, в крик.

Ее эгоцентризм, ее отказ считать поэзией то, что пребывало вне ее стихии, усиливали это взаимное непонимание.

Цветаева написала в эмиграции ряд больших поэм, две трети ее зрелого творчества протекло за границей.

И то, что не только у большинства читателей, но также и у самой авторитетной зарубежной критики она не встретила глубокого отклика — было бы непростительным грехом, если бы творческий воздух эмиграции оставался таким же, как в Петербурге и в Москве накануне революции.

Но времена были иные, не «громкий зов», а при-

глушенные голоса, не вихрь и буря, а тишина казались тогда более убедительными для «человека тридцатых годов».

*

В «Зеленой Лампе» (общество, устроенное Д. Мережковским и Зинаидой Гиппиус — открытые собеседования), если я не ошибаюсь, на первом же собрании произошло характерное столкновение «старших» и «младших».

Молодой поэт Довид Кнут, в пылу спора, заявил, что отныне столицей русской литературы нужно считать не Москву, а Париж.

Это заявление вызвало бурю негодования среди писателей старшего поколения и особенно среди представителей общественно-политических кругов, присутствовавших на собрании.

Столицей русской литературы «Париж», конечно, никогда не стал, да и не мог стать, но сознание трагизма нашего положения, о чем говорил Георгий Адамович на следующем собрании*), в начале тридцатых годов явилось зерном, из которого выросло новое поэтическое мироощущение, так называемая «парижская нота».

Д. Мережковский был прав, указывая на возможность большого творчества в эмиграции — Данте, например, или Мицкевича.

«Если поэты поймут, — говорил он, — всю глубину метафизики современности и сознательно станут глашатаями свободы — такое творчество неминуемо возникнет».

Вопреки Мережковскому, ни Данте, ни Мицкевича в эмиграции не нашлось, не возникло также никакой громкой, «ударяющей по сердцам» поэзии, революционной в политическом смысле.

---

*) См. «Встречи».

Голос эмигрантской Музы был приглушенным, поэты сознательно отстранялись от всякого рода декларативности, стремясь высказать свое «самое главное» в наиболее простых, но точных словах.

Тревога о человеке и о том, чем жить ему духовно в послереволюционном, невероятно усложнившемся, жестоком и своекорыстном мире, конфликт личности с коллективом, мечта о возможном братском отношении человека к человеку и, конечно, о любви, о возможности встречи с Богом, — вот основные ноты этой настроенности.

«Новый трепет» (frisson nouveau), с которого начинается всякая настоящая поэзия, был почувствован зарубежными поэтами.

Вопреки всем пессимистическим предсказаниям, в эмиграции оказалось возможным не только существование поэзии, но и ее развитие — возникновение мироощущения и стиля данной эпохи.

В конце двадцатых годов, пройдя через увлечение акмеизмом и неоклассицизмом, определив свое отрицательное отношение к русским и французским левым течениям, новая зарубежная поэзия остановилась как бы на распутье.

Мироощущение Владислава Ходасевича, учителя многих молодых поэтов в те годы, знатока формальной стороны поэзии, не отвечало уже тому, чего искали молодые.

Остро-взволнованная, полная иронии и отталкивания от низости и малости души современного человека, поэзия Вл. Ходасевича все-таки «не насыщала».

Быть может, единственность творческого опыта Ходасевича тому причиной, быть может то, что в своем подходе к человеку — именно к современному, растерявшему все прежние ценности, мучитель-

но искавшему выхода, он выявлял не такое отношение, какого хотело пореволюционное поколение, но расхождение с ним началось.

Не ирония, не осуждение, а наоборот, — сочувствие, жалость, любовь к человеку соответствовали настроению молодых поэтов.

Рамки «классической розы» Ходасевича, советы «не терять времени на обсуждение всяческих «метафизик», а лучше — работать и писать хорошие стихи», тоже перестали удовлетворять их.

Поэты хотели сказать свое собственное слово, выявить свое мироощущение, а не стоять на месте.

В сущности, в эмигрантской поэзии происходил тот самый процесс «смены поколений», какой неминуемо развился бы и в Советском Союзе, если бы там не было взято на подозрение все, относящееся к индивидуализму.

Вопрос о человеке нового времени — не о теоретическом, как в Советском Союзе, но о человеке *реально существовавшем,* как бы чудом сохранившемся за рубежом, — лег во главу угла, стал темой нового времени и мог обсуждаться только в атмосфере свободы, т. е., по условиям времени, — за рубежом.

Вот почему зарубежные поэты должны были взять на себя нелегкую задачу: открыть новую страницу, начать новое поэтическое «десятилетие».

Начало тридцатых годов совпало с возникновением и оформлением нового мироощущения.

Воскресные собрания у Мережковских, «Литературные беседы» Георгия Адамовича (сначала в журнале «Звено», затем — четверговые «подвалы» в «Последних новостях», тогдашней самой распространенной газете), собрания в редакции журнала молодых — «Числа», редактором которого был Н. А. Оцуп, и выход в свет сборника стихов Георгия Иванова «Ро-

зы» — явились той атмосферой, откуда вышло новое движение.

Было бы невозможно с точностью указать, какие именно разговоры Зинаиды Гиппиус с тем или иным из молодых поэтов, — или какой общий разговор за воскресным чайным столом у Мережковских, или какая статья Георгия Адамовича и какой из его «Комментариев» в «Числах» вдруг стали подобны катализирующему веществу, но катализация неожиданно произошла.

«Парижская нота», как, тоже неожиданно, окрестил ее Борис Поплавский в одной своей статье в «Числах», не стала «*школой*» в обычном значении этого слова, т. е. объединением поэтов, имеющим какую-то определенную программу и общие формальные методы.

Она начала звучать *в сердцах,* сделалась *внутренней музыкой* в душе каждого.

Она ничего не утверждала в виде обычных деклараций, которые всегда делают новые течения, и, конечно, не являлась какой-то панацеей, могущей — в глазах ее участников — вывести поэзию «из тупика».

> ...И ничего не исправила,
> Не помогла ничему,
> Смутная, чудная музыка
> Слышная только ему...

— сказал Георгий Иванов в «Розах» о Пушкине, но в сущности — о всякой поэзии, о каждом настоящем поэте.

Сущность поэзии, как всякого подлинного искусства, трагична, предел ее — вечно недостижим, берега ее усеяны обломками кораблей, потерпевших крушение.

И в то же время — поэзия вечна, несмотря на всю тяжесть бытия человека на земле и на всю (кажущуюся) нелепицу и тщету земных дел перед лицом смерти.

Зарубежную поэзию некоторые обвиняли в пессимизме.

Но что такое пессимизм или оптимизм в поэзии?

Тема ее с самой глубокой древности — Вавилон, Египет, Индия, Персия, Эллада и т. д. — одна и та же: о любви, о жизни, о смерти; о Боге, о душе, о бессмертии; о безысходности «земного круга» и о победе над смертью.

Тайна ее в том ,что каждый новый поэт неповторимо-лично, неповторимо по-своему переживает эту тему в неповторимо-личной «форме».

Поэтому в поэзии нет «новизны» — нет времени, но есть одна мера: поэзия.

Меняется прическа и костюм,
Но остается тем же наше тело,
Надежды, страсти, беспокойный ум,
Чья б воля изменить их ни хотела.

Слепой Гомер и нынешний поэт,
Безвестный, обездоленный изгнаньем,
Хранят один — неугасимый! — свет,
Владеют тем же драгоценным знаньем.

И черни, требующей новизны,
Он говорит: «Нет новизны. Есть мера,
А вы мне отвратительно-смешны,
Как варвар, критикующий Гомера!»

(Георгий Иванов, стихи 1943—1958)

Забота о формальной стороне поэзии, необходимость для поэтов знать «анатомию стихотворения» являются важной стадией ученичества, подготовкой начинающих, хотя об этом полезно помнить также всем участникам «цеха поэтов» — и «товарищам» и даже «мастерам».

Гумилев принес огромную пользу целому ряду поэтических поколений, подчеркнув идею мастерства и «выучки».

К сожалению, как всегда случается, забота о формальной стороне поэзии, необходимая на своем месте, превращается в ересь, как только кто-нибудь захочет ограничиться только ею.

Сам Гумилев, конечно, никогда не верил в возможность «делать поэтов», в чем упрекал его в пылу спора Блок в своей статье «Без божества, без вдохновенья», но некоторые последователи Гумилева именно так и думали.

Изучив тайны метрики и рифмовки, подсчитывая чередование гласных и согласных, прибегая к различным мудреным приемам, некоторые стихотворцы создавали *видимость поэзии* и считали, что достигли всего.

Сколько времени было потрачено в бесчисленных поэтических кружках в Париже и в других городах на обсуждение как раз этих «гласных и согласных» или «где поставить запятую» — плохо понятая идея «мастерства», «цеха», превращалась действительно в ремесло, а поэты — в ремесленников.

Позднее, в Советском Союзе, формисты, уже по более серьезным причинам, стали утверждать первенство формы над содержанием, — и в эмиграции борьба с ремесленниками и формистами заняла не мало времени.

Сначала Вл. Ходасевич, затем — участники гумилевского «Цеха поэтов» — Георгий Адамович и Георгий Иванов, как бы во искупление невольного греха Гумилева, соблазнившего некоторых «малых сих», в статьях, в рецензиях, в разговорах выступили против стихотворчества.

Статьи Георгия Адамовича, где он со свойственной ему убедительностью, иронией и непрестанной встревоженностью в отношении главного — подлинности, честности с собой, правдивости — обрушился на ремесло, заботящееся только об удачных эпитетах и красивых образах, увлекли младшее поколение и много содействовали возникновению нового мироощущения.

Для всего периода «парижской ноты», для всей «парижской атмосферы» чрезвычайно характерно *единство мироощущения,* соединенное с чрезвычайным *разнообразием формальной манеры* каждого из ее участников.

Сопоставляя стихи различных авторов, например, Антонина Ладинского с Ириной Одоевцевой, Владимира Смоленского с Анатолием Штейгером или с Лидией Червинской и т. д., видно, насколько они удалены друг от друга, в смысле стилистики и природы образа, и насколько они близки друг к другу, как только вопрос коснется мироощущения.

Значительность «парижского заговора», соответствие его с духом века держится как раз на этой общности, на согласии друг другу противоположных.

Только в условиях абсолютной свободы — внешней и внутренней — было возможно увидеть современный мир и современного человека с такой трагической трезвостью.

В одиночестве, в суровых условиях эмигрантской жизни, в которой каждый человек и духовно и мате-

риально был предоставлен исключительно своим силам, среди полного безразличия к нему «своих» и «чужих», именно в силу своей духовной и моральной совлеченности, новый человек, Рыцарь Бедный, человек тридцатых годов приобрел большую зоркость и меру.

Тяжелой ценой была куплена им та ясность и трезвость, которой так не хватало его более счастливым предшественникам в дореволюционной России.

Условность и фальшь прежних благополучных формул, обман призрачно-значительных ответов на проклятые вопросы — ему стали очевидны.

В свете трезвого, поневоле ни к кому не обращенного, не ожидающего никаких одобрений и поэтому искреннего сознания, люди тридцатых годов в какую-то минуту увидели тему о человеке не так, как видели ее до них, произвели выбор, отбросили то, что ощутили фальшивым, возненавидели легкость ответов на проклятые вопросы, а особенно — «метафизическую» риторику.

«Текущее поколение — писал я о человеке тридцатых годов в «Числах» — следует, по слову поэта Юнга, назвать поколением «обнаженной совести». Совесть тревожит; совесть заставляет проверять себя, формулы, имевшие прежде значительность и убедительность, оказываются только словами.

Непосредственное соприкосновение с грубой и страшной жизнью, с законом железной необходимости, выработали в современном человеке особое чувство — как бы пробный камень. Всякая фальшь, поза, неискренность — этим чувством разоблачаются; то, что в прежние времена принималось за весть о вещах духовных, а в сущности было лишь безответственной игрой словами с большой буквы, в ощуще-

нии современных людей — холод и ложь. «Смерть Ивана Ильича» говорит им больше, чем весь Вл. Соловьев; чувство, велевшее Толстому остановиться у порога смерти, более целомудренно, чем самые замечательные соловьевские прозрения и откровения.

Потеряв способность удовлетворяться полуответами, не зная настоящего, верного ответа на проклятые вопросы, современный человек принужден мужественно (или теряя мужество — в его положении это безразлично) оставаться наедине со своей внутренней жизнью, со всей тьмой и безысходностью мира.

Былое имущество роздано, богатый евангельский юноша стал нищ и наг.

Не знаю, согласился ли бы он получить назад свое богатство?

Думаю, не захотел бы и даже, если бы захотел — не смог.

Современный человек нищ и наг, потому что он совестлив. И он мог бы задрапироваться в любые «словесные ткани», мог бы, не хуже прежних людей, выбирать по своему вкусу цвета и оттенки, — но не хочет.

Мне кажется, эта воля — отказ от внешнего блеска, обеднение, решимость выдерживать одиночество — самое значительное, что приобрело новое поколение, и, надо надеяться, лучшая часть молодых поэтов и писателей устоит и не соблазнится легкой, дешевой удачей — литературной удачей «толпы ради».



«Парижская нота» оборвалась, кончилась.

Новые поколения поэтов, эмигрантское и пришедшее из Советского Союза, в первые послевоенные

годы даже как-то подозрительно и враждебно относились к «парижанам»: — «тема смерти, упадочничество, сосредоточенность исключительно на своих личных переживаниях...»

Отчасти в таком примитивном истолковании были виноваты некоторые журналисты и политики из среды старой эмиграции, которые с распростертыми объятиями кинулись навстречу «людям оттуда».

В течение всего довоенного периода эти господа мечтали создать гражданскую поэзию, «музу гнева и печали» XX века, ждали, что в эмиграции появятся поэты, способные разгромить в звучных ямбах их политических врагов.

Иными словами, с самыми лучшими намерениями, но ничего не понимая в искусстве, и в поэзии в частности, такие зарубежные идеологи, по существу, хотели поработить искусство, сделать его служанкой политики, навязать ему, как в Советском Союзе, обязательство воспитывать читателя в нужном для них направлении.

Недовольные уже давно «упадочничеством» (как им казалось) зарубежной довоенной поэзии, они начали всячески поносить ее и льстить представителям «новой» поэзии, в надежде, что «новые» себя покажут.

Понадобилось несколько лет, чтобы совместными усилиями и «прежних» и «новых» отстоять и в послевоенной эмиграции свободу творчества.

Встретив со всех сторон должную отповедь, сторонники «социального заказа», навязываемого извне, смолкли.

И тогда вдруг стало ясно всем, что миссия зарубежной поэзии является одним из тех свершений эмиграции, которыми она в будущем сможет оправдать себя.

Не грубая пропаганда против пропаганды, не насилие над искусством ради свержения другого такого же насилия может явиться высокой целью, но утверждение принципа свободы творчества, противопоставляемое принципу несвободы.

Бессильные что-нибудь конкретно свергнуть, ямбы и хореи превращаются в страшное оружие, если они свободны.

Именно поэтому тираны всех времен и всех народов так ненавидели свободное слово.

Страшная наша эпоха! Казалось бы, прописные истины, но дело в том, что малейшее забвение этих прописей ведет к гибели.

Гибели же мы уже достаточно видели на своем веку. Ближайшая задача — восстание из гибели, обретение вновь человеческого лица, иначе темная стихия окончательно зальет мир.

Вот почему тема о человеке и о том, как ему быть — приобретает глубокое значение.

Поэзия становится общим делом, важнейшим делом, а не просто сочинением стишков.

— У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: — Да, увы,
Любили . . . как еще любили!

(Анатолий Штейгер)

Когда я знакомился со стихами поэтов послевоенного эмигрантского поколения и, особенно, со стихами поэтов «новой эмиграции», мне постепенно становилось ясно, что тема о человеке и о его конфликте с современным миром, осознанная довоенными зару-

бежными поэтами, остается актуальной и до сих пор.

Пусть новые поэты, в смысле поэтической манеры, трактуют ее несколько иначе, чем поэты довоенные, пусть говорят громче, а не так сухо и сдержанно, как прежде, по существу в мироощущении «двух поколений» нет различия.

Это подтвердилось, когда — приблизительно к началу пятидесятых годов — «прежние» и «новые» слились в одну общую группу современных зарубежных поэтов, и сейчас уже говорить о каких-то разделениях было бы бесполезно.

Очень показательно в смысле «духа века», что все новые послевоенные поэты, как эмигрантского поколения, так и принадлежащие к «новой эмиграции», в общем прошли тот же путь, что и поэты довоенные — в смысле своих истоков, притяжений и отталкиваний.

Обобщая, можно указать на несколько характерных моментов:

1. Отход от левых течений, от «Хаоса», как говорил Ходасевич.

2. Несогласие с символистами и с их увлечением «безднами и тайнами».

3. Близость к акмеистам — к Гумилеву, Ахматовой, Осипу Мандельштаму (к Мандельштаму первых двух книг, а не последних стихов), к Георгию Иванову.

4. Блок и Марина Цветаева (далеко не у всех) и общее притяжение к XIX веку — к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Баратынскому.

5. Борис Пастернак, Хлебников, Маяковский, Есенин, Заболоцкий, Кирсанов, Багрицкий и т. д. отразились меньше, чем можно было ожидать.

Такое распределение симпатий и отталкиваний весьма показательно также и в смысле тех путей, по которым могла пойти новейшая советская поэзия, если бы имела возможность свободно выбирать, не боясь обвинения в индивидуализме и упадочничестве.

Еще наблюдение: поэты новой эмиграции, то есть воспитанные в Советском Союзе, как будто совсем не знают об Иннокентии Анненском (или не хотят знать его), тогда как эмигрантские поэты многому у Анненского научились.

Трудная задача — хотя бы в общих чертах представить лицо зарубежной поэзии; но то главное, на что хотелось обратить внимание — это ее духовная атмосфера, ее особая и только ей присущая музыка.

Сказанное не означает, что зарубежная поэзия выступает в роли проповедницы каких-либо определенных духовных концепций — такой роли она никогда на себя не брала и не захотела бы взять.

Но «Дух веет где хочет» — и только в атмосфере свободы поэзия может существовать, охраняя себя от всякой неправды, от всякой подделки, то есть осуществлять настоящее свое служение.

Ю. Терапиано

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

К. Д. БАЛЬМОНТ

КРУГ

Слышать ночное дыханье
Близких уснувших людей,
Чувствовать волн колыханье,
Зыбь отошедших страстей,—

Видеть, как вечно гадая,
Сириус в небе горит,
Видеть как брызнет, спадая
В небо один хризолит,—

Знать, что безвестность от детства
Быстрый приснившийся путь,
Вольно растратить наследство,
Вольным и нищим уснуть.

ЛЮБИМАЯ

Над морем тяготенье было тучи,
Свинцовая громада в высоте.
А тут и там, на облачной черте,
Какой-то свет был нежный и тягучий.

Откуда доходил он из-за кручи
Туманов, сгроможденных в пустоте?
Особенный по странной красоте
Мне талисман в нем чудился певучий.

Вдруг, высоко, там, в безднах вышины,
Серпом Луна возникла молодая,
И с свежим плеском, гулко возростая,

Качнула сила ровность глубины.
Так ты пришла, о, радость золотая,
В мгновение рождения волны.

ДВОЕ

Два волка бегут, оба в небо глядят,
На небо глядят, он грызлив, этот взгляд.
Не волки бегут, а полозья скрипят,
Нежданные в терем доехать хотят.

Две свечки, так жарки, не дрогнут, горят,
Не дрогнут, горят и с собой говорят.
Не свечи, а очи, в глубь ночи их взгляд,
Тоска истомила, ах, счастья хотят.

Две птицы, две с крыльями, когти острят,
Добычу наметят, ее закогтят.
От клюва до клюва насупленный взгляд,
Два сильные сокола биться хотят.

Два волка на срезанный Месяц глядят,
Налит чарованием жаждущий взгляд.
На белой красавице зимний наряд,
Два сердца в несчастии счастья хотят.

*

Пролетел юго-западный ветер сырой,
Вышел волк, осеннистый он зверь, матерой,
Уж не первую осень в яру осенюет,
В снегобелой глуши и ночует и днюет.

Были яблоки первых у нас осенин,
И вторых загорелся огонь не один,
И уж третьи пришли и прошли осенины,
И капусткой отпраздновал год именины.

Обронился на землю холодный туман,
И содвинулся с шубою серый кафтан.
Вот зазимье. Покров. И бубенчики. Свадьбы.
В волке мысли не те: «зайцу глотку
порвать бы!»

Да поймай его, зайца. Он с ветром знаком.
Промелькнет и покатится прочь колобком.
И завыл матерой. Лес откликнулся хмурый,
Приубравшись на миг волчьей пасмурной
шкурой.

*

Я помню, мне четыре было года,
Весна была цветиста и светла,
Когда старушка-няня умерла.
Я был один. И я стоял у входа.

Что значит смерть? Вся искрилась
природа.
Но няня спит. И странно так бела.
Уныли́лись вдали колокола.
В село от нас пошла толпа народа.

Я не пошел. На няню посмотрев,
Я в малом сердце ощутил стесненье.
И скрылся в сад. Там птичье
было пенье.

И слушая дерев и птиц напев,
Я думал, что цветы и озаренье
Действительность, а смерть лишь
заблужденье.

И. А. БУНИН

Овальный стол, огромный. Вдоль по залу
Проходят гости, слуги, — на столе
Огни свечей, горящих в хрустале,
Колеблются, — и скупо внемлет балу,
Гремящему в банкетной, и речам
Мелькающих в гостиной милых дам,
Круг игроков. Все курят. Беглым светом
Блестит огонь по жирным эполетам.
Зал, белый весь, прохладен и велик.
Под люстрой тень. Меж золотисто смуглых
Больших колонн, меж окон полукруглых —
Портретный ряд: вон Павла плоский лик,
Вон шелк и груди важной Катерины
Вон Александра узкие лосины...
За окнами вся снежная Москва
И звездной зимней ночи синева.

И вновь морская гладь бледна
Под звездным благостным сияньем
И полночь теплая полна
Очарованием, молчаньем —
Как, Господи, благодарить
Тебя за все, что в мире этом
Ты дал мне видеть и любить
В морскую ночь, под звездным светом!

*

Высокие нездешние цветы
В густой траве росли на тех могилах,
И небеса в бесчисленных светилах
На них смотрели с высоты.

И дивная Венера, как луна,
Нам бледно озаряла руки, лица —
И моря гробовая плащаница
Была черна, недвижна и черна.

*

В полуденных морях, далеко от земли,
Водил Господь мое ветрило —
И на лицо мое могильной тьмой легли
Лучи палящего светила.

Три четверти луны — как паутина,
А четверть — рог, блестящий, золотой
Небесный жолудь!

Тот колокол, что пел в родной долине,
Когда луна всходила из-за гор.

Душа, по старине, еще надежд полна,
Но только прошлое ей мило —
И мнится: лишь для тех
ей жизнь была дана,
Кого она похоронила.

Полный колос долу клонится,
Полный колос недвижим.

*

Уж ветер шарит по-полю пустому,
Уж завернули холода,
И как отрадно на-сердце, когда
Идешь к своей усадьбе, к дому,
В студеный солнечный закат,
А струны телеграфные
В лазури водянистой и рядами
На них молоденькие ласточки сидят,
Меж тем, как тучи дикими хребтами
Зимою с севера грозят!
Как хорошо помедлить на пороге
Под этим солнцем, уж скупым,—
И улыбнуться радостям былым
Без сожаленья и тревоги!

*

Порыжели холмы. Зноем выжжены,
И так близки обрывы хребтов,
Поднебесных скалистых хребтов.
На стене нашей глиняной хижины
Уж не пахнет венок из цветов,
Из заветных засохших цветов.
Море все еще в блеске теряется,
Тонет в солнечной светлой пыли:
Что ж так горестно парус склоняется,
Белый парус в далекой дали?
Ты меня позабудешь вдали.

СИЯНЬЯ

Сиянье слов... Такое есть ли?
Сиянье звезд, сиянье облаков —
Я все любил, люблю... Но если
Мне скажут: вот сиянье слов —

Отвечу, не боясь признанья,
Что даже святости блаженное сиянье
Я за него отдать готов...
Все за одно сиянье слов!

Сиянье слов? О, повторять ли снова
Тебе, мой бедный человек-поэт,
Что говорю я о сияньи Слова,
Что на земле других сияний нет?

МЕРА

Всегда чего-нибудь нет, —
Чего-нибудь слишком много...
На все как бы есть ответ —
Но без последнего слога.

Свершится ли что — не так,
Некстати, непрочно, зыбко...
И каждый не верен знак,
В решеньи каждом — ошибка.

Змеится луна в воде —
Но лжет, золотясь, дорога...
Ущерб, перехлест везде.
А мера — только у Бога.

ВЕЧНОЖЕНСТВЕННОЕ

Каким мне коснуться словом
Белых одежд Ее?
С каким озареньем новым
Слить Ее бытие?

О, ведомы мне земные
Все твои имена:
Сольвейг, Тереза, Мария...
Все они — ты Одна.

Молюсь и люблю... Но мало
Любви, молитв к тебе.
Твоим-твоей от начала
Хочу пребыть в себе,

Чтоб сердце тебе отвечало —
Сердце — в себе самом,
Чтоб Нежная узнавала
Свой чистый образ в нем...

И будут пути иные,
Иной любви пора.
Сольвейг, Тереза, Мария,
Невеста-Мать-Сестра!

ЛЯГУШКА

Какая-то лягушка (все равно!)
Свистит под небом черновлажным
Заботливо, настойчиво, давно . . .
А вдруг она — о самом важном?

И вдруг, поняв ее язык,
Я б изменился, все бы изменилось,
Я мир бы иначе постиг,
И в мире бы мне новое открылось?

Но я с досадой хлопаю окном:
Все это мара ночи южной
С ее томительно-бессонным сном . .
Какая-то лягушка! Очень нужно!

КАК ОН

Георгию Адамовичу

Преодолеть без утешенья,
Все пережить и все принять,
И в сердце даже на забвенье
Надежды тайной не питать, —

Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей.

ДОМОЙ

Мне —
  о земле —
    болтали сказки:
      «Есть человек. Есть любовь».

А есть —
  лишь злость.
    Личины. Маски.
      Ложь и грязь. Ложь и кровь.

Когда предлагали
  мне родиться —
    Не говорили, что мир такой.

Как же
  я мог
    не согласиться?
      Ну, а теперь — домой! домой!

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

ИЗ «ОКСФОРДСКОЙ ТЕТРАДИ»

Прилип огнем снедающий хитон:
Кентавра кровь — как лавы ток по жилам
Геракловым. Уж язвины могилам
Подобятся. Деревья мечет он —

В костер... И вихрь багряных похорон
Ползучий яд крылатым тушит пылом.
Так золото очищено горнилом...
Земной любви не тот же ли закон?

Сплетясь, — как дуб с омелой чужеядной, —
Со страстию глухонемой и жадной,
Убийцу в ней вдруг узнает она.

Живая плоть бежит от плоти хладной.
И надвое, что было плоть одна,
Рассекла Смерть секирой беспощадной.

*

То жизнь — иль сон предутренний, когда
Свежеет воздух, остужая ложе.
Озноб крылатый крадется по коже,
И строит сновиденье царство льда.

Обманчива явлений череда:
Где морок, где существенность, о Боже?
И явь и греза — не одно ль и то же?
Ты — бытие: но нет к Тебе следа.

Любовь — не призрак лживый: верю, чаю! . .
Но и в мечтанье сонном я люблю,
Дрожу за милых, страждую, жду, встречаю . . .

В ночь зимнюю пасхальный звон ловлю,
Стучусь в гроба и мертвых тороплю,
Пока себя в гробу не примечаю.

*

Пью медленно медвяный солнца свет,
Густеющий, как долу звон прощальный:
И светел дух печалью беспечальной,
Весь полнота, какой названья нет.

Не медом ли воскресших полных лет
Он напоен, сей кубок Дня венчальный?
Не Вечность ли свой перстень обручальный
Простерла Дню за гранью зимних мет?

Зеркальному подобна морю слава
Огнистого небесного расплава
Где тает диск и тонет исполин.

Ослепшими перстами луч ощупал
Верх пинии и глаз потух. Один
На золоте круглится синий купол.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

*

Не было измены. Только тишина.
Вечная любовь, вечная весна.

Только колыханье синеватых бус,
Только поцелуя солоноватый вкус.

И шумело только о любви моей
Голубое море, словно соловей.

Глубокое море у этих детских ног,
И не было измены — видит Бог.

Только грусть и нежность, нежность вся до дна,
Вечная любовь, вечная весна.

*

Как в Грецию Байрон, о, без
сожаленья,
Сквозь звезды, и розы, и тьму,
На голос бессмысленно-сладкого
пенья...
— И ты не поможешь ему.

Сквозь звезды, которые снятся
влюбленным,
И небо, где нет ничего,
В холодную полночь — платком
надушенным...
— И ты не удержишь его.

На голос бессмысленно-сладкого пенья,
Как Байрон за бледным огнем,
Сквозь полночь и розы, о, без сожаленья...
— И ты позабудешь о нем.

*

С бесчеловечною судьбой
Какой же спор? Какой же бой?
Все это наважденье.

Но этот вечер голубой
Еще мое владенье.

И небо. Красно меж ветвей,
А по краям жемчужно...
Свистит в сирени соловей,
Ползет по травке муравей —
Кому-то это нужно.

Пожалуй нужно даже то,
Что я вдыхаю воздух,
Что старое мое пальто
Закатом слева залито,
А справа тонет в звездах.

*

Мелодия становится цветком,
Он распускается и осыпается,
Он делается ветром и песком,
Летящим на огонь весенним
мотыльком,
Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет
И перевоплощается мелодия
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, в ментик, в «Ваше
благородие»,
В корнета гвардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

*

Белая лошадь бредет без упряжки.
Белая лошадь, куда ты бредешь?
Солнце сияет. Платки и рубашки
Треплет в саду предвесенняя дрожь.

Я, что когда-то с Россией простился,
(Ночью навстречу полярной заре)
Не оглянулся, не перекрестился,

И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре.

Хоть поскучать бы... Но я не скучаю.
Жизнь потерял, а покой берегу.
Письма от мертвых друзей получаю

И, прочитав, с облегчением жгу
На голубом предвесеннем снегу.

И. О.

Распыленный мильоном мельчайших частиц,
В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц,
Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире.

И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

*

Торжественно кончается весна
И розы, как в эдеме расцвели.
Над океаном блеск и тишина
И в блеске — паруса и корабли...

... Узнает ли когда-нибудь она,
Моя невероятная страна,
Что было солью каторжной
земли?

А, впрочем, соли всюду грош цена.
Просыпали — метелкой подмели.

Нет в России даже дорогих могил,
Может быть и были — только я забыл.

Нету Петербурга, Киева, Москвы,—
Может быть и были, да забыл, увы.

Ни границ не знаю, ни морей, ни рек.
Знаю — там остался русский человек.

Русский он по сердцу, русский по уму,
Если я с ним встречусь, я его пойму.

Сразу, с полуслова ... И тогда начну
Различать в тумане и его страну.

Полу-жалость. Полу-отвращенье.
Полу-память. Полу-ощущенье,
Полу-неизвестно что,
Полы моего пальто...

Полы моего пальто?
Так вот в чем дело!

Чуть меня машина не задела
И умчалась вдаль, забрызгав грязью.
Начал вытирать, запачкал руки...

Все еще мне не привыкнуть к скуке,
Скуке мирового безобразья!

НИКОЛАЙ ОЦУП

Из поэмы «Дневник в стихах»

Это — Царскосельского парада
Трубы отдаленные слышны,
Это — тянет розами из сада,
Это — шорох моря и сосны.
Это — все что чувства волновало,
Но как будто видно изнутри,
Все что для меня впервые стало
До чего прекрасным. Посмотри,
Это — праздничное отчего-то
Все что было с птичьего полета.

Это — дальше, следующий век
Тот, в котором нас уже не будет,
Это — умирает человек,
Но пока земля не обезлюдит,
Это будет чем-то вот о чем:
Если б разжигать не удавалось
Духу Истины в очередном,
Смертном, сердце и любовь и
жалость,—
Мало что не стоило бы жить,
Всей земли могло бы и не быть.

Из поэмы «Встреча»

Фонарь горит. Куда мы едем?
Не то козлом, не то медведем
Стоит короткая сосна
В тяжелый снег облачена.
Над желто-синими снегами
И над санями небеса
Летят холодными кругами
Чудовищного колеса.

То шапку теплую заденет
Огромной спицей, и нырнет
Душа, но путь ее изменит
Саней пологий поворот.
То лошадь очень крупной рысью
Несется на гору, и ты
Смеешься мне из темноты
И муфту поднимаешь лисью.

И все тобой озарено,
Когда с серебряного склона
Мерцает наконец окно
На силуэте пансиона.

Допили золотой крюшон,
Не тронут бутерброд,
Дурак уверовал, что он
В потомстве не умрет.

А на ладони виртуоз
Проносит в вышине
Никелированный поднос,
Слетающий ко мне.

Я молча пью. Ты не со мной,
Но ты всегда моя.
Я всюду слышу голос твой,
Далекий звон ручья.

Пускай старается румын,
Пускай вопят смычки,
И некрасивый господин
Мигает сквозь очки.

Мне все равно легко дышать
И слушать скрипачей.
Сумел я в сердце удержать
Слова любви твоей.

*

В белой даче над синим заливом
Душно спать от бесчисленных роз.
Очень ясно, с двойным перерывом,
Вдалеке просвистел паровоз.

Там проходит пустыми полями,
Над которыми месяц зажжен,
Вереницы груженых дровами
И один санитарный вагон.

Слабо тянет карболкой и йодом:
— Умираю, спаси, пожалей!
Но цветы под лазоревым сводом
Охраняют уснувших людей.

*

Не диво — радио: над океаном
Бесшумно пробегающий паук;
Не диво — город: под аэропланом
Распластанные крыши; только стук,

Стук сердца нашего обыкновенный,
Жизнь сердца без начала, без конца —
Единственное чудо во вселенной,
Единственно достойное Творца.

Как хорошо, что в мире мы как дома
Не у себя, а у Него в гостях;
Что жизнь неуловима, невесома,
Таинственна, как музыка впотьмах.

Как хорошо, что нашими руками
Мы строим только годное на слом.
Как хорошо, что мы не знаем сами
И никогда быть может не поймем

Того, что отражает жизнь земная,
Что выше упоения и мук,
О чем лишь сердца непонятный стук
Рассказывает нам, не уставая.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

Перешагни, перескачи,
Перелети, пере-что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.

⁂

Жив Бог! Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблажливый игумен
Среди смиренных чернецов.
Пасу послушливое стадо
Я процветающим жезлом,
Ключи таинственного сада
Звенят на поясе моем.
Я — чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий,
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я — не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне
данный
Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон...
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую оду!

*

Все жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бледный окровавит
Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода.

Прервутся сны, что душу душат,
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желтосерого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах,—
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал
прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Впрочем — так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.

*

Странник прошел, опираясь на посох,—
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.

Вечером лампу зажгут в коридоре, —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось, на суше, на море,
Или на небе, — мне вспомнишься ты.

*

Сквозь ненастный зимний
денек
— У него сундук, у нее
мешок —
По паркету парижских луж
Ковыляют жена и муж.

Я за ними долго шагал,
И пришли они на вокзал.
Жена молчала и муж молчал.

И о чем говорить, мой друг?
У нее мешок, у него сундук...
С каблуком топотал каблук.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

РОЛАНДОВ РОГ

Как бедный шут о злом своем уродстве,
Я повествую о своем сиротстве:
За князем — род, за серафимом — сонм,
За каждым — тысячи таких, как он,
Чтоб пошатнувшись — на живую стену
Упал и знал — что тысячи на смену!

Солдат — полком, бес — легионом горд,
За вором — сброд, а за шутом — все
горб.
Так, наконец, усталая держаться
Сознаньем: долг и назначеньем: драться
— Под свист глупца и мещанина смех —
Одна за всех — из всех — противу
всех,
Стою и шлю, закаменев от взлету,
Сей громкий зов в небесные пустоты.

И сей пожар в груди — тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, Рог!

УЧЕНИК

Быть мальчиком твоим светлоголовым,
— О, через все века! —
За пыльным пурпуром твоим брести
в суровом
Плаще ученика.

Улавливать сквозь всю людскую
гущу —
Твой вздох животворящ
Душой, дыханием твоим живущей,
Как дуновеньем — плащ.
Победоноснее царя Давида
Чернь раздвигать плечом,
От всех обид, от всей земной
обиды
Служить тебе плащом.

Быть между спящими учениками
Тем, кто во сне — не спит,
При первом черные занесенном
камне
Уже не плащ — а щит!

(О, этот стих не самовольно прерван!
Нож чересчур остер!)
И — вдохновенно улыбнувшись — первым
Взойти на твой костер.

*

Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
— Где были вы? — Вопрос как громом
грянет,
Ответ как громом грянет: — На Дону!

— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

*

С Новым Годом, Лебединый стан!
Славные обломки!
С Новым Годом — по чужим местам —
Воины с котомкой!

С пеной у рта пляшет, не догнав,
Красная погоня!
С Новым Годом — битая — в бегах
Родина с ладонью!

Приклонись к земле — и вся земля
Песнию заздравной.
Это, Игорь, — Русь через моря
Плачет Ярославной.

Томным стоном утомляет грусть:
— Брат мой! — Князь мой! — Сын мой!
— С Новым Годом, молодая Русь
За морем за синим!

*

О путях твоих пытать не буду,
Милая! — ведь все сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос —
И — слез.

Не спрошу тебя, какой ценою
Эти куплены масла.
Я был наг, а ты меня волною
Тела — как стеною
Обнесла.

Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав.
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.

В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
— Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла
Как волна.

Не чернокнижница! В белой книге
Далей донских навострила взгляд!
Где бы ты ни был — тебя настигну,
Выстрадаю — и верну назад.

Ибо с гордыни своей, как с кедра,
Мир озираю: плывут суда,
Зарева рыщут... Морские недра
Выворочу — и верну со дна!

Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох,
Есмь я и буду я, и добуду
Губы — как душу добудет Бог:

Через дыхание — в час твой хриплый,
Через архангельского суда
Изгороди! — Все уста о шипья
Выкровяню и верну с одра!

Сдайся! Ведь это совсем не сказка!
— Сдайся! — Стрела, описавши круг...
— Сдайся! — Еще ни один не спасся
От настигающего без рук:

Через дыхание... (Перси взмыли,
Веки не видят, вкруг уст — слюда...)
Как прозорливица — Самуила
Выморочу — и вернусь одна:

Ибо другая с тобой, и в судный
День не тягаются...

Вьюсь и длюсь.

Есмь я и буду я, и добуду
Душу — как губы добудет уст-

Упокоительница...

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

Твоих озер, Норвегия, твоих лесов . . .

И оборвалась речь сама собою.
На камне женщина поет без слов.
Над нею небо льдисто-голубое.

О верности, о горе, о любви,
О сбившихся с дороги и усталых
— Я здесь! Я близко! Вспомни... назови! —
Сияет снег на озаренных скалах.

Сияют сосны красные в снегу.
Сон недоснившийся, неясный, о котором
Иначе рассказать я не могу.

Твоим лесам, Норвегия, твоим озерам.

*

Холодно. Низкие кручи
Полуокутал туман.
Тянутся белые тучи
Из-за безмолвных полян.

Тихо. Пустая телега
Изредка продребезжит.
Полное близкого снега
Небо недвижно висит.

Господи! И умирая
Через полвека, едва ль
Этого мертвого края
Этого мерзлого рая
Я позабуду печаль...

*

Пора печали — юность — вечный бред!

Лишь растеряв по свету всех друзей,
Едва дыша, без денег и любви,
И больше ни на что уж не надеясь,

Он понял, как прекрасна наша жизнь,
Какое торжество и счастье — жизнь,
За каждый час ее благодарит
И робко умоляет о прощеньи
За прежний ропот дерзкий...

*

За слово, что помнил когда-то
И после навеки забыл,
За все, что в сгораньях заката
Искал ты, и не находил,

И за безысходность мечтанья,
И холод, растущий в груди,
И медленное умиранье
Без всяких надежд впереди,

За белое имя спасенья,
За темное имя любви
Прощаются все прегрешенья
И все преступленья твои.

*

Ну вот и кончено теперь. Конец.
Легко и просто, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, не много
было.

Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому?
Как на большой дороге, под дождем,
Под леденящим ветром... к дому,
к дому.

Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Все ясно. Остановка. Окончанье.
А ведь из человеческих сердец...
И это обманувшее сиянье!

*

Один сказал: «Нам этой жизни
мало»,
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали — каждый раз
нежней —
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

Старый кот с отрубленным хвостом,
С рваным ухом, сажей перемазан,
Возвратился в свой разбитый дом,
Посветил во мрак зеленым глазом.

И, спустясь в продавленный подвал,
Из которого ушли и мыши,
Он сидел и недоумевал,
И на зов прохожего не вышел.

Захрустело битое стекло,
Человек ушел, и тихо стало.
Кот следил внимательно и зло,
А потом зажмурился устало.

И спиной к сырому сквозняку,
Он свернулся, вольный и надменный,
Доживать звериную тоску,
Ждать конца — и не принять измены.

*

Из каких четвертых измерений,
Из каких чудесных кладовых
Льется запах краденой сирени
С неуклюжей лаской слов твоих?

Та сирень поникла и увяла
Через день — но вот который год
Я над ней склоняюсь все сначала —
И она цветет, цветет, цветет . . .

*

Вот, добралась. Еще шумит в ушах
И крупной дрожью ломятся колени.
Еще один нетерпеливый шаг
К ребру последней солнечной ступени,—

И с крутизны, где снизу ветер бьет
И волосы, как водоросли, моет, —
Слежу мой путь. Он не похож на взлет,
Он трудно и упрямо пройден мною.

И вновь неблагодарною мечтой
Я прохожу — не мирный склон пологий,
Но каменный карниз над пустотой,
Но зыбкий оползень, где вязнут ноги,

Но ели, что царапая спасли
Меня в паденьи, дружески и грубо,—
И близкий запах камня и земли
И ими в кровь разорванные губы.

Но разве одоленное в борьбе
Одно души и памяти достойно? . .
А мы то, Боже, молимся Тебе
О ясном небе и судьбе покойной!

МЕДВЕДИЦА

Мокрый снег на солнце светится,
Талая вода черна.
В теплом логове медведица
Пробуждается от сна.

И хрустит в сыром валежнике
Зверь, дремотен и уныл,
И на первые подснежники
Сонной лапой наступил.

«Ах ты, туша неуклюжая» —
Затрещал под нею лед, —
А она стоит над лужею
И весну из лужи пьет.

Здесь, в саду таинственном Твоем,
Я, как лист на дереве осеннем,
Вся дышу последним тихим днем,
Но ползут длиннеющие тени...

Скоро ветер колыхнет, шурша,
Сад ночной и, не противясь даже,
Лист увянувший, моя душа,
Подлетит к ногам Твоим и ляжет.

ЛАРИСА АНДЕРСЕН

КОШКА

Наконец-то, кошка, мы с тобой вдвоем.
Погрустим немножко, песенки споем...
Будет синий вечер лезть в окно тайком.
Я укрою плечи маминым платком.
Я тебя поглажу и пощекочу,
Ты же мне расскажешь, все, что я хочу,
И про ту сторожку, в тишине лесной,
И про то, что, кошка, мы сбежим весной.
Мы с тобой такие, мы с тобой одни...
А они — другие, не поймут они,
Не поймут и скажут: — ишь ты, как горда!
И не ценит даже нашего труда.
То — дается в руки, то — лишь хвост трубой.
Кошка! Ведь от скуки любят нас с тобой!
Лишь за то, что гладки, гибки да хитры,
За красу повадки, за азарт игры.
А когда поверим — нас не захотят,
Выбросят за двери, как твоих котят.
Ничего. Мы сами. Мы одни и пусть!
Пусть томится с нами ласковая грусть!

Пусть ничем на свете нас не смогут
взять,
Втолковать все эти «можно» и «нельзя»,
Пусть в холодной злобе, когти затая,
Мы — игрушки обе. Обе — ты и я!
Мучай нас, не мучай — мы всегда верны
Древней и дремучей радости весны.
И, как только ветер шевельнет листом,
Ты махнешь вот этим шелковым
хвостом.
Я ж, глаза сощурив, следом за тобой
И в грозу и в бурю. И с судьбою в бой.

ЗЕРКАЛА

Я прохожу по длинной галерее.
Вдоль стен стоят большие зеркала.
Я не смотрю... Иду... Иду скорее...
Но нет конца зиянию стекла.
Я, всюду я. Назойливая свита!
Рабы. Рефлексы. Тени бытия...
Беспрекословной преданностью слиты
С моей судьбою. Так же, как и я.
Стою, — стоят. И ждут. И смотрят
тупо,
Трусливо безответственность храня,—
Непревзойденно сыгранная труппа
Актеров, представляющих меня.
Вот я шагну,— они шагнут навстречу.
Махну рукой,— взметнется стая рук.
Я закричу,— и без противоречий,
Беззвучно рты раскроются вокруг.
И я кричу. Но звука нет. И тела —
Ни рук, ни ног — как будто тоже
нет...
Лишь отраженья смотрят омертвело
И странно улыбаются в ответ.
Я понимаю, веря и не веря,—
Они живут отдельно от меня.
Кто эта вот,— когтистой лапой зверя
Манит, умильно голову склоня?
На лапе золотая цепь браслета.
Окрашен кровью виноватый рот,

Кошачья мордочка... А эта, эта?
А этот отвратительный урод?
Чего-то просит, жалуется, злится,
Скользит, робеет, подползает вновь...
А чьи вот эти радостные лица,
Лучистые, как счастье, как любовь?
Одна, как яблоня, в покрове белом...
Да, яблоня... Так кто-то звал меня...
Другая изогнулась нежным телом,
Просвеченным сиянием огня...
Но кто же я? Вон та, иль та, иль эта,
Сомкнувшие вокруг меня кольцо?

Из глубины зеркальной, как
с портрета,
В лицо мне смотрит мертвое лицо.

ОЛЬГА АНСТЕЙ

Суровым синим ветром от воды
Обдуло спуск, высокие ступени.
Но голые подернуты сады
Налетом серизны передвесенней.

И под сквозною этой серизной
Не нега, нет, — но обещанье неги.
Под нею — будущий недвижный
зной
И будущие сочные побеги.

Еще земля, дыханье притая,
В бесснежном феврале грустит и
чахнет,
И ветра требовательного струя
Еще груба, еще ничем не пахнет.

Но сладко видеть года сдвиг опять
И, подойдя к задумавшейся тайне,
Ту пору боязливую поймать,
Что провесной зовут у нас в Украйне.

*

К твоим прикрытым ставням,
К барачной шаткой дверце
В паломничестве давнем
Стоптало туфли сердце.

Сама сижу, не двинусь:
Туда мне нет дороги.
Не подбегу, не кинусь —
Окаменеют ноги.

В разлуке леденею.
И встречу — не оттаю.
Сама пойти не смею,
А сердце посылаю

Узнать как спишь, чем дышишь,
Что думаешь, что куришь,
Какую строчку пишешь,
Кого в уста целуешь.

К дверям твоим заветным,
Когда огни потухли,
Посланцем незаметным
Стоптало сердце туфли.

*

Я примирилась, в сущности,
с судьбой,
Я сделалась уступчивой и гибкой.
Перенесла, что не ко мне,— к другой
Твое лицо склоняется с улыбкой,

Не мне в твой именинный день
Скобленый стол уставить пирогами
Не рвать с тобою мокрую сирень,
И в желтых листьях не шуршать
ногами...

Но вот когда подумаю о том,
Что в немощи твоей, в твоем закате —
Со шприцем, книжкой, скатанным
бинтом —
Другая сядет у твоей кровати,

Не звякнув ложечкой, придвинет суп,
Поддерживая голову, напоит,
Предсмертные стихи запишет с губ
И гной с предсмертных пролежней
обмоет,—

И будет, став в ногах, крестясь, смотреть
В помолодевшее лицо — другая —
О, Боже мой, в мольбе изнемогаю:
Дай не дожить... Дай прежде умереть.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ СТИХИ

Тот сотрапезник наш, тот сфинкс круглоголовый,
Что к нам пожаловал пушистою обновой,

Из многих комнатно-охотничьих утех
Одну облюбовал, пожалуй, больше всех:

Чуть краны отвернешь, и две струи, как вожжи,
Пойдут, свистя, хлестать фаянсовое ложе —

Уж соглядатай тут, и любопытных лап
Я слышу по борту внимательный царап.

Стоит, как будто век был в банных адъютантах,
Стоит, как Павлова на розовых пуантах,

И, набок чинную головку наклонив,
Задумчиво глядит на комнатный прилив.

Не правда ли чудно? Отнюдь не по-котовьи!
Коты не чувствуют к воде большой любови.

Не родился ль наш кот на мельнице лесной,
Где из-под колеса моргает водяной?

У мельника, чей сглаз охаян всей деревней,
Всегда есть кот-ведун с мурлычной сказкой древней.

НИНА БЕРБЕРОВА

Сложить у ног твоих весь этот страшный мир,
Где уличный певец со шляпой нас обходит,
Где ангелы в плащах, изношенных до дыр,
Под траурным дождем по тротуарам бродят.

Сложить у ног твоих, на городских камнях,
Закон законов всех и тайну мирозданья,
Весь этот дикий мир в искусственных огнях,
Где мы живем с тобой, шепча свои желанья.

На свете я одна и нет меня другой,
На свете ты один, и нет тебя другого,
И в нас одна любовь, о друг мой дорогой,
До смерти, до конца. И после смерти снова.

8 АВГУСТА 1921 ГОДА

Я помню день тому пять лет назад:
Над летним Петербургом дождь
и ветер.
Таврический глухой я помню сад
И улицы в передвечернем свете,

На одеяле первые цветы,
Покой и хлад в полузакрытом взоре,
И женщины увядшие черты,
Немеющей от бедности и горя.

Я помню день, унылый, долгий день,
В передней — плач, на лестнице
смятенье,
И надо всем — нездешней жизни тень,
Как смертный след, исполненный
значенья.
И я сама, тому всего пять лет,
Стояла там и видела обоев
Рисунок пестрый и в окошке след
Дня уходившего, не успокоив.

Пять лет тому! Куда ушли года
Невозвратимой юности и жара?
Спроси: куда течет весной вода?
Спроси: где отблеск горнего пожара?

*

Две девочки. Одна с косой тугой,
Другая стриженная после кори,
Идут аллеей за руки держась.
Кто эти девочки? Садится солнце
И нежно плачут жаворонки в небе,
В аллее тень, и камень бел и сух.
Кто эти девочки? То ты, быть может,
И я, и вместе нам идти легко.
Дом далеко, а рай почти что рядом.
Оттуда к нам идут навстречу двое:
Мой милый друг, мой старший брат,
товарищ
Ушедших юных лет, и твой отец.
Они нас долго ждали. В этот вечер
Они ото всего нас оградят,
Мы никогда их больше не покинем.
А эта жизнь, и все, что после было,
И что теперь, и то еще, что будет,
Давай все это правдой не считать.
Мы так прошли с тобой по той аллее:
Рука с рукой. Ты стрижена, как
мальчик,
А у меня коса. Нам десять лет.
И вечным миром приняло нас небо.

Памяти З. Н. Г.

Я десять лет не открывала старой
Коробки с письмами ее. Сегодня
Я крышку подняла. Рукою тонкой
Вот эти бледные листы она
Когда-то исписала мне на радость.
Там бабочка случайная дремала
Среди стихов, среди волшебных слов,
Быть может, год, быть может, десять лет.

И вдруг, раскрыв оранжевые крылья,
(Напомнив рыжеватость т е х волос)
Она из тьмы ушедших дней вспорхнула
И в солнце унеслась через окно
В лучистый день, в лазурное сегодня.

Как будто камень отвалила я
У входа в гроб давно глубоко спящей.

РАИСА БЛОХ

Налетает ветер длиннокрылый,
Заметает по дорогам след.
Чтоб не помнить нам того, что
было,
Не искать, чего уж больше нет;

И струится небо голубое,
Острова седые унося,
Чтоб нам жить в безоблачном
покое,
Ни о чем у Бога не прося.

Ну, а сердце, сердце не умеет,
Неуклонно темное зовет.
Для него напрасно ветер веет,
Истекает солнцем небосвод.
Ничего оно не разумеет,
Об одном твердит который год.

*

Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова:
Летний Сад, Фонтанка и
Нева.

Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода.

Вас не взять, не спрятать, не
прогнать.
Надо жить — не надо вспоминать,
Чтобы больно не было опять.

Не идти ведь по снегу к реке,
Пряча щеки в пензенском платке,
Рукавица в маминой руке.

Это было, было и прошло,
Что прошло, то вьюгой замело.
Оттого так пусто и светло.

*

Мне снилось — о, если бы было
То, что мне Бог открыл! —
Мне снилась моя могила:
Над нею птица кружила
Серпами черными крыл.

Мне снились дальние звоны
— Откуда они, скажи? —
И жаркого неба склоны
Стекали на лес зеленый,
На желтое поле ржи.

И было мне так спокойно
Так сладко было мне
Под этой рекою знойной,
Под этой волною хвойной
Глубоко лежать на дне.

*

Чистота, чистота и звон
На высотах Твоих, о, Боже,
И тобой этот мир рожден,
Этот мир, на тебя похожий.

Отчего же весенним днем
Самым стройным и самым ясным,
Загорается кровь огнем
И безудержным и напрасным,

И сильнее, чем голос вод,
И слышнее, чем птиц служенье,
Этот зов, что меня ведет
В немоту и в уничтоженье.

ВЕРА БУЛИЧ

СИРЕНЬ И ЛАСТОЧКИ

Изнемогают душные сирени
От непосильной пышности кистей.
Надстольный зонт дает немного
тени,
И солнце жжет узоры скатертей.

Все в башнях, трубах небо городское
Над ласточкою — музою весны.
Но ей ли, быстрой, думать о покое
В самозабвенном счастье вышины.

Лишь петь и славить синий мир
беззлобный,
Полуденную солнечную тишь . . .
Но вдруг над улицами вой утробный
Тревогу в небе возглашает с крыш.

Опять — подвалы, узкие темницы,
Сырые чрева каменных домов.
Там наверху — горячий полдень длится
Там ласточки, сиянье облаков

И пышный цвет сирени изобильной...
А здесь — томленье, холод, слепота,
Тягучий запах плесени могильной
И тяжесть непосильная креста.

ИЗ ПОЭМЫ «МЕДАЛЬ ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»

Здесь Пушкин проходил, и дом на Мойке
Хранит в стенах его предсмертный вздох.
... Безумный Герман на больничной койке,
Тасуя карты, бредит: с нами Бог!

На черном небе зарева большого
Разрозненные сполохи горят,
И над Невою сумрачно-багровой
Летит из тучи вражеский снаряд.

Над Зимнею Канавкой о перила
Облокотилась Лиза, вся в слезах . . .
. . . Подруги милые, мне — крест, могила,
А вам резвиться в солнечных лугах.

Хрустальным пламенем сияла зала,
Столетья блеск впитали зеркала.
Здесь музыка Чайковского звучала,
Здесь славы русской радуга взошла.

Подъезд театра, как пустая рама,
И ветер крутит мусор и золу.
Но в полночь выйдет Пиковая Дама,
Пройдет по улицам в туман и мглу.

Пройдет, растает в площади пустынной,
В зияньи стен разбитых пропадет,
И луч прожектора иглою длинной
Над памятником бронзовым скользнет.

Ты ждешь, Евгений, но не с прежним
страхом,
С надеждой жаркой ожидаешь ты,
Что ринется одним могучим махом
Чудесный конь с гранитной высоты,

И по торцам столицы непокорной,
В развалинах не сдавшейся врагу,
Проскачет он, строитель
чудотворный,
Свой клич войскам бросая на бегу.

И. БУРКИН

ДОЖДЬ

Дождь упал и сделал дырку
На поверхности воды,
Повернулся словно циркуль,
Округлил свои следы,

Приложил собственноручно
Свои лапы, а потом,
Как всегда, благополучно,
Приземляться стал кругом.

Все измерил взглядом метким
В ширину, потом в длину —
Дом, меня, мою соседку;
На веранду заглянул,

Стукнул в дверь, в окошко клюнул,
Перепрыгнул частокол,
Всех на свете переплюнул,
Всех буквально превзошел.

Долго целился в бутылку,
По ветвям открыл пальбу,
Щелкнул Петю по затылку,
Тех, кто с Петей был — по лбу;

А других совсем не тронул,
Как-то мимо пролетел.
А на глупую ворону
И вглянуть не захотел.

ЛЕТО

Степное колючее лето.
Какой замечательный вид:
Подсолнух в чинах, в эполетах,
На вытяжку смирно стоит.

Такие здесь, видно, порядки.
Как тихо, как сонно вокруг!
Оставив одежду на грядке,
В земле закаляется лук.

Такая здесь, стало быть, мода:
Арбуз, без особых забот
Откормленный розовым медом,
На солнышке греет живот.

Часы здесь ползут как тюлени.
В часу здесь сто двадцать минут.
А пруд — это зеркало лени,
Обломовщина, а не пруд.

В халатах здесь стеганых куры,
Цыплята в коротких штанах,
А здешний петух — Троекуров
В мундире и при орденах.

А утки здесь словно кухарки —
В передниках и босиком.
Вихрастые Ваньки, Захарки
На палочках скачут верхом.

Судьба их, быть может, и мрачна,
Но всё же судьба, и авось . . .
И небо настолько прозрачно,
Что видно порою насквозь.

ИЗ ПОЭМЫ «ПРОГУЛКА»

1.

Опять в снегу лежит мир Божий,
Опять кусается мороз.
Идет по улице прохожий —
Идет прохожий синий нос.

Идет он тихо, беззаботно.
Он с этой улицей знаком.
От мира внешнего он плотно
Закрыл свой мир воротником.

Он не богат и он не беден,
Не вор, не нищий, не урод.
Он не опасен и безвреден,
Как лев чугунный у ворот.

Пора б ему остановиться,
Куда идти? Но пешеход
Идет и хочет убедиться,
Что он на улице живет.

Хрустит подлунная дорога,
И на прогулку вышел снег.
Глядит в пустые руки Бога,
Грустит прохожий человек.

Грустит и верит в Божьи руки
И даже в Божью пустоту,
Пусть заложил он даже брюки,
Пусть верить и в невмоготу.

Вон на углу фонарь в ермолке,
А если дальше заглянуть —
Там ели в белых треуголках
И что-то светится чуть-чуть.

А вон огромною морковью
Труба фабричная растет,
Дымит кому-то на здоровье,
Пуская дым всю ночь в расход.

А вот мозаика развалин.
В ней до костей обнажены
И стены бывших тихих спален,
И мир уютной тишины.

А дальше — просто бесподобно! —
Такая тьма, такая тишь,
Что поневоле в мир загробный,
Не умирая, улетишь.

Нарушив строй кромешной ночи,
Один средь ночи, как на грех,
Один лишь Дед-Мороз хохочет
На черной улице за всех.

Да рядом с ним кричит афиша,
Нацелив грозно пистолет.
Куда идти? Подняться выше,
Но правды выше тоже нет.

И небеса как двор тюремный.
О, этот звездный винегрет,
О, этот бедный, подъяремный
И крепостной вечерний свет!

Уж не запеть ли по-старинке.
Всему конец. Всему капут.
Почем теперь на черном рынке
Эрзац-Европу продают?

А снег танцует до упаду.
Морковь дымит, несется ввысь.
Звезда, зажги свою лампаду
Или сама скорей зажгись.

Идет по улице прохожий,
За ним плетется тихо вслед
Усталый, бедный, чернокожий
Прохожий мирный силуэт.

ИРИНА БУШМАН

Мы за руки взялись и держимся по-детски...
Вокруг лишь гладь полей да неба синева...
И любо говорить с тобой нам по-немецки,
Вставляя русские и польские слова.

И может потому ты позабыл о боли,
А я свою тюрьму забыла в этот миг,
Что «Wiese» говоря, мы переводим «поле»,
И каждый узнает в чужом родной язык.

И фразы о кустах, о ручейка изгибе,
О злаках и цветах мы повторяем вновь,
Затем, что не хотим германским словом «Liebe»
Мы называть свою славянскую любовь.

ОБЕРНУВШИСЬ

Я — туда, где рельс параллельные линии
Стали тусклой точкой одной.
Я — вперед, в просторы ночные, синие.
Я — домой.

Бедный город, грустный и одинокий:
Провожающим — тяжелей,
Я тебя целую в кирпичные щеки.
И в глаза ночных фонарей.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Весну сманили, дурочку,
В Морозову постель,
Чтоб вылепить Снегурочку
Под звонкую капель.

И стала дочь по осени,
Красавиц всех милей,
Тут Лели песни бросили,
Толпятся у дверей.

Тут с жемчугами, с шелком ли,
С заката до зари
Шатаются под окнами
Седые Мизгири.

Ах, эти чувства вешние,
Всегда бывают зря!
Гоните Леля к лешему
И к чёрту Мизгиря.

Запоминай, дочурочка,
Что я тебе пою:
Не знай любви, Снегурочка,
Баю-баю-баю!

*

Умей творить! Из камня, из стекла,
Из шелка пестрого, из смолкнувшего слова.
Не допусти, чтоб жизнь твоя текла
По руслу старому, лишь повторяя снова.

Будь архитектором иль кузнецом,
Создай симфонию, поэму, дочь иль сына,
Будь композитором, за истину борцом,
Врачом, художником, певицей, балериной,

Прославься в юности. В безвестности умри,
Но чтоб в конце пути из хижин иль дворцов
Ты не с пустой рукой пришел к Творцу творцов,
Будь, чем хотел . . . чем смог.

Но что-нибудь твори!

АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ

КОНЕЦ ЗИМЫ

Глубокий снег размяк. Во мраке
Опять залаяли собаки.
Все люди спят, не спит одна
Над степью полная луна.

Да я брожу. Мне ветер южный
Поет о том и говорит,
Что иней нежный и жемчужный
Не встретит утренней зари.

Поют серебряные трубы
О целомудрии зимы,
Но ветер южный, ветер грубый,
Дохнул дыханием чумы.

И падает в изнеможеньи
Пред ним прекрасная зима,
В тлетворном, страшном исступленьи
Целует жениха сама.

Часы идут, секунды меря,—
То не часы во мгле идут —
За каплей капля слезы веры
С высоких тополей текут

Так отозвался струнным хором
Хрустальный звон из глубины
На льющийся степным простором
Голубоватый свет луны.

*

Ты несколько рубашек, днем,
Перед уходом постирала.
Всю ночь осеннюю потом
В окошко пуговка стучала.

Стучала в сумерках немых,
А мне, минутами, казалось,
Что дело милых рук твоих
В печальном стуке продолжалось.

С тех пор я понял: так же мне
Совсем не звезды нужно славить,
Когда в смертельной тишине
Хочу бессмертие оставить.

*

Поздно ночью, даже слишком поздно...
За окном почти сплошные звезды.

Тишина высокая в просторе...
А внизу, в кафе арабы спорят.

Даже, может быть, дерутся... Странной
Кажется мне драка, крики пьяных.

Меряю глазами расстоянье
От кафе до звездного сиянья.

*

Куда ни ступит человек,
Где ни появится спросонья —
В озера, в воды чистых рек
Течет фабричное зловонье.

Все рубит, пилит, косит, жжет,
Все травит дымом, газом, чадом.
И смрад, и грязь, и смерть несет
Всепобеждающее стадо.

Но вместе с тем само оно
В воротничках, в рубахах чистых.
Вот баба вымыла окно,
Паркетный пол суконкой чистит.

На подоконниках цветы,
Безжизненны, не благовонны.
В домах собачки и коты:
Клочки природы угнетенной.

Есть к этим маленьким зверькам,
К цветочкам, к рыбкам тяготенье:
Убийцу тянет к тем местам,
Где совершилось преступленье.

ТАМАРА ВЕЛИЧКОВСКАЯ

В лесу мороз. А если я щекою
Прижмусь к тебе, замерзшая кора,
В дремотной глуби зимнего покоя,
Ты, может быть, подумаешь:
«пора,

Пришла весна . . .» Потом задремлешь
снова
И будешь спать, как должно в феврале,
Но, может быть, средь холода лесного
Ты сон увидишь о моем тепле.

*

От взмаха сильного руки,
Что камень с берега швырнула,
Полоска серебра сверкнула,
И водяные пауки
Звездой рассыпались в испуге.
И на поверхности пруда
Все незаметнее вода
За кругом круг рождала в круге
И вновь покрылась пауками,
Уже забывшими испуг . . .

Но как был легок всплывший круг,
И как тяжел упавший камень.

*

Опять поля направо и налево.
Знакомый ветер встретил и узнал...
И вдруг запел таким родным напевом,
Как будто бы по имени позвал.

И мы пошли по-дружески, не споря,
Крылатый друг смирился и притих.
Я о своем рассказывала горе,
Он о скитаньях говорил своих.

Сменялись тучи на небесной страже,
Мы с ветром вспоминали о весне,—
Он никогда на людях не расскажет
Того, что говорит наедине.

И он мне рассказал об очень многом,
И проводил по дружбе на вокзал,
И листьями усыпал мне дорогу,
Но все-таки о главном не сказал.

Это было глухой зимой.
Но светилась земля морозом.
Шла я ночью одна домой, —
Не по инею, а по розам.

Я не зябла в худом пальто,
Говорила — к весне готовься,
Шла и пела, не знаю — что,
То, что не было песней вовсе.

Те, кого пришлось повстречать,
Мне качали вслед головами.
Не могла ни петь, ни молчать,
Не могла говорить словами . . .

МАРИЯ ВОЛКОВА

ЧЕТВЕРГОВАЯ СВЕЧА

Разлюбить, потеряв, невозможно,
Но как страшно, любя — потерять!
Я годам этой жизни ничтожной
Своего не хочу уступать!
Хмуры люди и небо свинцово,
Но тихонько в покинутый дом
Я иду со свечей четверговой
Бесконечным чужим пустырем.
И ладонью огонь защищая
От ветров и угроз озорства —
Как во сне про себя повторяю
Незабытые с детства слова.
Не сдаваясь сухому неверью,
Донесу я до дома свечу
И над кем-то забитою дверью
Четкий крестик опять накопчу!

ОКТЯБРЬ

Мертвые листья лежат на ступеньках крыльца.
Там, за оградой из елок, заржавевший высится дуб.
Солнца не видно. Кругом облака из свинца:
Нынче Октябрь на улыбки особенно скуп.
В старом гнезде над сараем давно уже аистов нет.
Больше не слышно в саду залихватского пенья
скворцов.
Нудно стрекочет машина: молотит прилежный сосед.
В песне труда ни души, ни волненья, ни слов.
Сыростью тянет от леса. Туманы ползут из болот.
Глаз застилает роса. Послезилась небесная высь.
В сердце кольнуло. Как больно! Но это, конечно,
пройдет . . .
Осень ты, осень — нигде от тебя не спастись!

ДРУЖБА

Она всех даров чудесней,
Сокровищ земных дороже!
Поэты цветы и песни
Бросали к ее подножью.

Алтарь ее цел и ныне,
Хотя и не так украшен:
Жизнь стала скупей, пустынней,
А с нею — и сердце наше!

Но тот, кто судьбой отмечен,
Найдет одного средь многих
И с ним, даже с первой встречи,
По той же пойдет дороге.

Затмится, увы, с годами...
Ярчайший огонь любовный,
Но тихое дружбы пламя
Горит неизменно ровно.

Пусть время лицо иссушит,
Пусть плечи, что день, согбенней —
Моложе и крепче души
От близких прикосновений!

О дружбе тысячелетья
Мечтали и пели люди...—
Как выцветет все на свете,
Когда и ее не будет!

АЛЕКСАНДР ГИНГЕР

ШАР

На что нам чудеса! Когда б ослепли мы,
когда бы слышать перестали —
мы к бурям бы рвались из медленной
тюрьмы
и о пожарах бы мечтали.

Но несказанный шар сейчас осветит нас,
и знак подаст; и звуки встанут.
И будет слышать слух, и будет видеть глаз,
а ночь и глушь в могилу канут.

Каких чудес желать? Ведь их не может
быть:
они уже у нас и с нами.
О том, чтоб не заснуть. О том, чтоб не
забыть.
О том, чтоб не забыться снами.

УГОЛ

Незаслуженное чудо
ожидает за углом
тех, которым очень худо.
Обогни стоячий дом.

Усмири тревожный трепет
в шумной и большой груди.
Удержи сердечный лепет.
Темный угол обойди.

Воцари в спокойном сердце
золотую пустоту,
победи в пустынном сердце
кровяную суету.

Темный угол, угол дома
обойди и обогни.
Грянули раскаты грома,
брызнули его огни.

Тех, которым было худо,
белым счастьем обожгло.
Неожиданное чудо
не случиться не могло.

ДОВЕРИЕ

Как жалок лепет слов твоих
напрасных
в беспомощных молитвенных стихах,
как жарок ворох роз присноппрекрасных
в твоих руках, в чахоточных руках!

Сюда, Тереза, умершая рано,
мне смертному на помощь поспеши;
явись благоприятною охраной
в ночи, в ночи, во мгле, в глуши, в тиши.

Под сводами томления ночного
все прошлое и пусто и темно,
но иногда блаженной вестью новой
воображение потрясено.

И в каждом вздохе, сердца в каждом
бьеньи:
сюда, Тереза! ворох роз, сюда!..
Проходят дни, растет уединенье,
встает гора греха, труда, стыда —

но ты, чахоточная королева,
пребудь с рабом, к слепому низлети,
обороны от грусти и от гнева
и руку горя властно отврати.

СВЕТИТ МЕСЯЦ

Дочь моя живет в Лизгоре,
с мужем ей не скучно там.
А навязчивое горе
ходит по другим местам.

Бестелесно, но костляво
и косой ополчено,
всюду близко, вечно право —
прочно царствует оно.

Истощились наши силы,
страха нам не победить.
Мертвые легли в могилы,
приказав недолго жить.

Братья, сестры! Перед этим
жалким ужасом земным
станем мы подобно детям,
руки мы соединим

и не плача и не споря
будем верить чудесам.
Тварк ушел давно уж в море
жив иль нет — узнаешь сам.

АЛЛА ГОЛОВИНА

БРЮГГЕ

Ночью руки до плеча растают —
Мы крылаты снова на досуге.
Ночью души наши улетают
На каналы в позабытый Брюгге.
Чинно звезды сторонятся в небе,
И туманы, подколов вуали,
Нас ведут туда, где черный лебедь
Под мостом вздыхает на канале.
Спят кружевницы в своих подвалах
И во сне привычными руками
Ворожат в узорах небывалых,
Что цветут вверху над чердаками.
Город спит в неотзвеневших звонах,
В медных звуках — горестных и
чистых,—
Темный город брошенных
влюбленных
И с маршрута сбившихся туристов.

А когда колокола застонут
И кружевниц ослепят рыданья,
Нас лучи готические тронут
И мы птицам скажем: до свиданья...
Мы уже опаздываем, птицы,
И давно, в Париже или Праге,
Колют тело стынущее шприцем
И на полках ворошат бумаги.

*

От слов твоих, от памяти моей
И от почти такого же апреля,
Опять поет забытый соловей,
И близится пасхальная неделя.
Но все встает в какой-то полумгле
И призраками — праздничные лица,
Цветы сияют мутно на столе,
А соловей, как заводная птица.
Он так поет, что плачет богдыхан,
В истрепанном собраньи Андерсена:
— Хочу того,— но тяжелей туман,
И дальше север, и слышнее Сена.
И девочка под заводную трель
Боится так, как прежде не боялась
Сказать тебе, что и сейчас апрель,
Что с нами память, кажется, осталась,
Что можно бы попробовать еще,
Но вот она сама уже не верит,
Хоть соловей садится на плечо
И щелкает, и нежно лицемерит . . .
И дождь идет без запаха дождя,
Без шелеста, стекая с переплета,
Где спят герои, руки разведя,
Как для объятья или для полета.

ВЕСНА

О, как слаба, о, как нежна,
О, как скучна и нежеланна,
Встает прохладная весна
Из-за версальского фонтана.
И ей подчищенный тритон
Трубит заученную встречу,
Садовник — хилого предтечу —
Пестует зябнущий бутон.
И в рыжем пиджаке плебей
Стоит, нацелясь аппаратом, —
Богиня профилем носатым
Ему позирует с аллей.
Но эта встреча не для мук . . .
В траве, потягиваясь, прелой,
Амур натягивает лук
И в землю выпускает стрелы.

МИХАИЛ ГОРЛИН

ШНУРРЕНЛАУНЕНБУРГ

Когда-то в детстве, начитавшись Гофмана и сказок,
Я рисовал красными чернилами, чтоб было покрасивее,
Веселый несуществующий городок Шнурренлауненбург.
Потом прошли года.
Я забыл, я совсем забыл про него,
И сегодня вспомнил снова.
Как ясен он передо мной! Выйду и пойду бродить по его улицам.
Вот дворцовая площадь с домиками из пестрого картона,
С мраморным львом, покрашенным для правдоподобия
в желтый цвет.
А вон и церковь: на ее крышу ставят ангелам кружки пива,
Чтоб ночью, охраняя город, они не страдали от жажды.
Говорят, что этот обычай сильно печалит герцога:
Он любит просвещение и считает, что это чушь,
Но еще больше просвещения он любит свою коллекцию
фарфора и собачьих хвостов.
А про гофрата говорят совсем странные вещи,
Будто он целый день пьет кофе и беседует с попугаями
о смысле жизни,
А по вечерам садится на свой чубук, и улетает . . . куда?

Шнурренлауненбург!
Пестрый радостный город!
Долго ль я буду блуждать по веселым твоим переулкам,
Спорить с попугаями гофрата и сидеть в кабаке голубого цветка,
Или снова будет, что было раньше:
Серый день, затхлый, как непроветренная комната,
Одиночества тусклый свет?

МЕКСИКА МОЕГО ДЕТСТВА

Мексика моего детства, вижу тебя
С твоими кактусами, пупырчатыми и длинными, как огурцы,
С твоими индейцами, притаившимися за гущами лиан,
С твоими всадниками с головами и без голов,
Со стадами мустангов, постоянно мчащихся по степям.
Помню, и я скакал по твоим степям во сне:
Подо мною убегали широта и долгота
Четкими линиями, как на географических картах.
Враги бросали в меня не то копья, не то цветные карандаши.
Я скакал без передышки, обгоняя всех,
К домику с белыми колоннами, крытому черепицей,
Где ждала меня прекрасная донья Соль
С очень черными волосами и очень красными губами,
Как на тех коробках сигар, что курил мой отец,
Или как на той, что я увидал у тебя, мой друг Виктор,
В тот день, когда мы вели нескончаемый спор.

АНТОНИНА ГОРСКАЯ

ЭЛЕГИЯ

Сияют голубые дали...
Ты помнишь эти небеса?
Ты помнишь, как они сияли,
Как искрилась в траве роса,
Когда мы над Днепром мечтали?
Как вихрь вдруг взвился над поляной
И на реке поднял валы,
И волны ветер ураганный
Выплескивал у той скалы,
К которой мы прижались. Странный
Был этот день опустошений.
Он на заре, как перламутром,
Речные струи украшал
И обещал нам ранним утром
Вечерний благостный причал.
И был чудесен мир весенний,
А мы беспечны, как стрекозы.
Но в полдень загремели грозы,
И тучи черные легли,
И ужасом заволокли
И светлый день и счастье наше.
И стал нам день весенний страшен.
И мы блуждаем в темноте,
И с каждым шагом шаг короче.
Но ждем, в упрямой простоте,

Что скроется беда в свой срок,
И выход мы найдем из ночи,
И чрез домашний свой порог
Вновь переступим...

Сияют голубые дали...
Ты помнишь ли, как мы мечтали?

Мои часы остановились,
Но не исчез их мудрый счет . . .
Мне ночью голуби приснились —
Их улетающий полет.

И с ними время пролетало,
Оно менялось на лету —
Свой путь то солнцем озаряло,
То погружалось в темноту.

А странствие мое тревожно,
Идет за мной суровый страж,
В какой-то встреченной таможне,
Он вскроет стиснутый багаж.

Задержись пред закрытою дверью,
Прежде чем постучаться в нее,
Не спеши, подожди перед нею
И предчувствие слушай свое.

И, быть может, оно утвердится
После встречи со скрытой судьбой —
Будто книги лукавой страница
Открывается дверь пред тобой.

И, вступая в пространство чужое,
Ты свой мир переносишь туда.
Как любимый он встречен порою,
Как в неволю войдет иногда.

И стучаться рука перестанет
На последнем пороге и твой
Детский ангел хранитель восстанет
И введет в тихий мир за чертой.

НИКОЛАЙ ЕВСЕЕВ

Помню войну, что шумела когда-то.
Шли за Россию полки умирать
Рава, Гумбинен, Варшава, Карпаты.
После далеко пришлось отступать.

Тяжкое помню прощание с Крымом,
Все расставанье с роднюю землей
И пароходов тяжелые дымы
Над голубой черноморской водой.

Константинополь ... Завод под Парижем.
Время махнуло мне быстрым крылом.
Сильные плечи склоняются ниже ...
Может быть лучше молчать о своем.

Что же сказать? И кому это нужно.
Нечем хвалиться пред вами, друзья.
Всеж драгоценною нитью жемчужной
Жизнь протянулась куда-то моя.

*

Не надо ждать — сама придет.
Угаснет мысль, и сердце станет,
И будет люб, как воск и лед.
Ничто тогда уже не ранит.

И только десять, двадцать строк,
Оставя дверь слегка открытой,
Продлят земной и бедный срок,
Пока не будут позабыты.

*

Иноходец был резвый, горячий.
Пристяжная еще горячей.
Жизнь казалась одною удачей
Средь осенних бегущих полей.

И поля за полями мелькали
Будто счастье летело со мной
В голубые зовущие дали,
В белый дом за песчаной рекой.

Был тогда я еще малолеткой
Бесшабашным сорви-головой
И не знал, как огромною клеткой
Встанет мир над казачьей душой.

А душа словно стрепет влюбленный,
Тот, что бьется в калмыцкой петле
Перепуганный и возмущенный
На апрельской цветущей земле.

ИВАН ЕЛАГИН

Нежность, видно, родилась заикой,
Ей слова даются тяжело.
Ей бы медвежонком в чаще дикой
На заре обнюхивать дупло.

Ей бы грызть заостренный и горький
Лист брусничный да лежать во мху,
Слушая, как ветер на пригорке
Треплет тонкоствольную ольху.

А ее просили сесть в гостиной,
И была хозяйка с ней мила,
Оттого что нежность чинно-чинно,
Очень хорошо себя вела.

Столь необычайное смиренье
Даже озадачило кота:
Кот изобразил недоуменье
Знаком вопросительным хвоста.

Кот нашел, по-видимому, странным
То, что нежность так себя ведет:
Кот в любви был старым ветераном,
Помнил, что такое нежность, кот.

Знал, что не унять ее томлений,
И умел он на своем веку
Ткнуться мордой в милые колени,
Ухом почесаться о щеку.

Исчезают, как в водовороте,
Выплески однообразных дней.
Вы, наверно, так и не придете
На свиданье с нежностью моей.



Пробегают такси по соседнему парку,
И рекламная осень пестра и шумна.
Пролетающий лист, как почтовую марку,
Ветер лепит с размаху на угол окна.

Я не думал о вас. Ваше русское имя
На туманном стекле написалось само.
Моя осень и я со стихами моими
С этих пор адресованы вам как письмо.

*

Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома,
Ни тополя. Но вдруг над головой
Я ощутил присутствие объема,
Что комнатою звался угловой.
В пустом пространстве делая отметки
Я мысленно ее воссоздаю.
Здесь дом стоял и тополь был, и ветки
Просовывались в комнату мою.
Вот там, вверху, скрипела половица
И лампа вбок была наклонена,
И вот сейчас выпархивает птица
Сквозь пустоту тогдашнего окна.
Прошли года, но мир пространства
крепок,
И у пространства память так свежа,
Как будто там, вверху, воздушный
слепок
Пропавшего навеки этажа.
Здесь новый дом построят
непременно,
И, может быть, посадят тополь тут,
Но заново воздвигнутые стены
С моими стенами не совпадут.
Ничто не знает в мире постоянства.
У времени обрублены концы.
Есть только ширь бессмертного
пространства,
Где мы и камни смертные жильцы.

*

Еще рассвет. Еще туманный хаос.
Еще, передрассветно колыхаясь,
Деревья — еле видимые — в дымке
Похожи на рентгеновские снимки.
Еще рассвет. Но из туманных грядок
Весь город выпадает, как осадок,
Выходят, как из мутного раствора,
И памятник, и выступы собора,
И дом обозначается за домом.
Чтоб встать на небе каменным
изломом,
Чтоб встать на небе четкой и
упрямой
Извечной городской кардиограммой.

*

От полустанка до полустанка,
То водокачка, то вагонетка,
Полка, бутылка, консервная
банка,
Поле, да поле, да изредка ветка!

От разлуки до разлуки,
От судьбы и до судьбы,
Взяли душу на поруки
Телеграфные столбы!

Телеграфные столбы —
Соглядатаи судьбы!

Ветер бреющим полетом
Бьет по спинам поездов,
И поет, поет по нотам,
Бесконечных проводов!

Пой на тысячу ладов,
Ветер нищих! Ветер вдов!

ВЛАДИМИР ЗЛОБИН

СОН ШЕСТОЙ

Еще один дурацкий сон.
Поди, пойми его значенье!
Я будто болен (иль влюблен)
И мне прописано леченье.

Я должен, чуть на землю ночь
Свое набросит покрывало,
Скорей, скорей из дома прочь,
Стрелой — иначе все пропало —

На берег темного пруда
(Не *на* море и не на речку)
И там, когда над ним звезда
Взойдет, задуть ее, как свечку.

И вот, несчастный человек,
Я дую. Силища какая!
И звезды падают, как снег,
Во тьме колеблясь и сверкая.

*

Я сам себя заколдовал.
Блаженство? Выбирай любое.
Пустого зеркала овал,
В нем только небо голубое.

Но ты внимательно вглядись
В его растущие просторы,
Туда, в сияющую высь,
Где тонут ангельские взоры.

И как парящего орла
Из этой глубины лучистой,
Неудержимая стрела
Тебя пронзит с протяжным свистом.

И ты увидишь свой же лик,
Но в восхищеньи совершенства.
И будет этот краткий миг
Блаженней вечного блаженства.

СВИДАНЬЕ

Памяти Д. М. и З. Г.

Они ничего не имели,
Понять ничего не могли.
На звездное небо глядели
И медленно под руку шли.

Они ничего не просили,
Но все соглашались отдать,
Чтоб вместе и в тесной могиле,
Не зная разлуки, лежать.

Чтоб вместе... Но жизнь не простила,
Как смерть им простить не могла,
Завистливо их разлучила
И снегом следы замела.

Меж ними не горы, не стены,—
Пространств мировых пустота.
Но сердце не знает измены,
Душа первозданно чиста.

Смиренна, к свиданью готова,
Как белый, нетленный цветок
Прекрасна. И встретились снова
Они в предуказанный срок.

Развеялись тихо туманы,
И вновь они вместе — навек.
Над ними все те же каштаны
Роняют свой розовый снег.

И те же им звезды являют
Свою неземную красу.
И так же они отдыхают,
Но в райском Булонском лесу.

ЮРИЙ ИВАСК

ЦАРСКАЯ ОСЕНЬ

I

Склоняются дубы и клены,
Сияя славой золотой,
И густо устилают склоны
Багряной жертвенной листвой.

И, Византии современник,
В сияньи золотых божниц,
Серебряный первосвященник
Склоняется смиренно ниц.

И снова, славою венчанный,
Законы преступя времен,
Крест Иисусов, осиянный,
Над нами воздымает он.

А синеокий отрок, словно
Небесный тихий херувим,
С тяжелым посохом безмолвно
На страже бодрствует за ним.

II

О, сколько золота! Но не богаты!
О, нет, бедны! И как еще бедны!
И золотые листья и закаты,
И серебро блеснувшей седины...

Распад, распад все той же Византии.
Ну, что же, распадайся: и скорей!
А ветры, что народные витии,
Разоблачают золотых царей.

Цари-дубы, патриции — те клены,
А ты, царица — лиственница та;
Зарницы холмов освещают склоны,
И листья стелются, и нищета.

Сентябрь, сентябрь великих умиранье
И Юлиев, и Августов земли,
И вот октябрь, последнее сиянье,
И варвары с секирами пришли.

И обреченных венценосцев сада
Он вырубает, дикий человек...
А снег не падает, но — падай, падай,
О, невозможный и блаженный снег!

III

Это — золото блестит, оно не светит,
Неживое и тяжелое оно —
Неживое, золотое солнце Леты,
Ветхой Леты опускается на дно.

Волны рукоплещут, черные —
не чернь ли,
Чернь, которая волнуется у ног;
Как она звероподобна, суеверна,
И зачем цари не справились с ней
в срок?

У патрикиев придворных морды лисьи,
И варягов русая зловеща рать,
Не вздохнуть царю, мешает дивитиссий,
Голову в венце жемчужном не поднять.

Пережить мне суждено ли час позора?
Ужас даже на личине палача,
Окна покраснели от стыда и горя,
Кровью и вином пропитана парча.

Ненавистны мне лукавые монахи
И густая суеверная толпа;
Славлю чуждую бессмысленного
страха
Верность соляного бедного столпа.

Солнце мертвое есть тоже солнце
славы,
Одинокое величество люблю;
Одинокую угасшую державу
Бедной каменной рукой благословлю.

ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ

ПАМЯТЬ

1

В теории не переспорить память,
На практике ее не обойти,
Она ворвется и прервет дыханье,
Двумя штрихами облик воплотив.
Он выступит из разноцветных пятен,
Из впечатлений малых и больших,

И я увижу все — от складок платья,
До акварельной тонкости души.
Он будет жить и крепнуть разрастаясь,
И будет личность крепнуть вместе с ним,
Он будет вкраплен в миросозерцанье,
Войдет в меня и станет мной самим.

2

Любовь за мелочь пряталась как будто,
Была во всем, ей все служило вехами,
Она дружила с телефонной будкой,
С аудиторией, с библиотеками,
Она дружила с лицами прохожих,
Авансом всех и каждого любя,
Она с любым дружна, на всех похожа,
Она похожа только на себя.
Чем мельче штрих и чем пустяк
обыденней,
Тем безраздельней он роднился с ней,
И в пустяке, случайно вновь
увиденном,
Я прошлое увижу там ясней.

НА СЕНОВАЛЕ

Сарай. Свобода. Лето. Тень.
Сверчок со стрекотом коротким,
И голова между локтей
И книга возле подбородка.
Прохладный воздух в щель течет,
Стена сарая чуть расселась
И луч сквозь выгнивший сучок
Ложится пятнышком на сено.
И невозможно удержать
Веселого биенья сердца,
Пылинки в воздухе дрожат,
В луче не устают вертеться.
Поет труба и рвется стяг,
Дается рыцарское слово,
В пустыне дротики свистят,
Пылят арабские подковы.
Проходит много-много лет
И кто-то принял смерть в походе,
И кто-то выполнил обет,
Освобождая Гроб Господень.
И хочется почти до слез
В огромный мир, во рвы под стены,
А солнце брызжет через тёс
И опьяняет запах сена.
И впечатления остры,
Коленки в ссадинах, в занозах,
А мир еще не дооткрыт,
Еще не назван, не осознан.

КАНУН РОЖДЕСТВА

Сочельник плавит свечи, смотрит
в звезды,
Снега смирив и ветры спеленав,
И поднимает крылья в ясный воздух
Мелодия и голос «Штиле Нахт».
В светлых высях полет голосов,
Диалог колокольных высот.
Отзывается в звездной пыли
Голос меди и голос земли.
Сочельник каплет воском, студит
стекла,
Зовет хрусталь на ветках повисать
И вспыхивает блик упавший с елки
На темно-золотистых волосах.
Мотив из детства. Ты его певала,
Ты с ним росла. Он был твоим вполне,
Самой себе ты в нем приоткрывалась,
Тогда он стал твоим письмом ко мне.

Д. КЛЕНОВСКИЙ

ДОЛГ МОЕГО ДЕТСТВА

Двоился лебедь ангелом в пруду.
Цвела сирень. Цвела неповторимо!
И вековыми липами хранима
Играла муза девочкой в саду.

И Лицеист на бронзовой скамье,
Фуражку сняв, в расстегнутом мундире,
Ей улыбался, и казалось: в мире
Уютно, как в аксаковской семье.

Все это позади. Заветный дом
Чернеет грудой кирпича и сажи,
И Город Муз навек обезображен
Артиллерийским залпом и стыдом.

Была пора: в преддверьи нищеты
Тебя земля с улыбкою встречала.
Верни же нынче долг свой запоздалый
И, хоть и трудно, улыбнись ей — ты.

*

Какая-то радость, но кто же
Из смертных ее назовет?
Еще нам и сердце тревожит
И жизнь разлюбить не дает.

Откуда она сохранилась,
Свой луч затаила во мгле,
Последняя чистая милость
На нашей недоброй земле?

Созвездья ль в нее уронили
Свою потаенную пыль?
Пыльца ли в ней утренних лилий
С утраченной райской тропы?

И мы с безымянного детства
Своей неизбывной земли
Того золотого наследства
Истратить еще не смогли!

*

Не камешком в мозаиках Равенны,
Не багрецом на фресках Ватикана —
Была я лишь клочком веселой пены
На голубых просторах океана.

Но я навстречу парусу взлетела,
С прибрежным рифом, ускользая, билась,
Я смуглой девушки ласкала тело
И в золотой песок, устав, зарылась.

Мой быстрый путь ничем не обозначен,
Моя судьба — случайна и мгновенна,
Но я была счастливей и богаче,
Чем все гробницы и дворцы вселенной.

*

О, славные содружества поэтов
Благословенной пушкинской поры!
Где ваши клятвы, пылкие приветы,
Беседы и невинные пиры?

Где ваши споры, где ночные бденья
На берегах торжественной реки,
Звенящие, как струны, посвященья,
Упоминанья краше, чем венки?

Все отошло... Мы вам уже не пара!
Мы мелочны, завистливы, скучны,
И даже самым совершенным даром
Развлечены, но не потрясены.

На сердце нам, заветно и глубоко,
Высокой дружбы не легла печать.
Вот почему и радости высокой
В стихах у нас — увы! — не прозвучать.

*

Как бушевали соловьи
Над нашей гоголевской хатой
Луною выбеленной и
Подсолнухами полосатой!

Их было не перекричать!
Но, неуверенно вначале,
Еще пугаясь все сказать,
Мы их с тобой . . . перешептали.

Как было хорошо прильнуть
Губами к маленькому уху!
С собой мы взяли в дальний путь
Ту немудреную науку.

И с той поры она для нас
Защитой стала неизменной:
Таким же шепотом сейчас
Мы заглушаем шум вселенной.

ИРИНА КНОРРИНГ

Мы мало прожили на свете,
Мы мало видели чудес.
Вот только — дымчатые эти
Обрывки городских небес.

И эти траурные зданья
В сухой классической пыли,
Да смутные воспоминанья
Мы издалека привезли.

В огромной жизни нам досталось
От всех трагедий мировых
Одна обидная усталость,
Невидимая для других.

И все покорнее и тише
Мы в мире таем, словно дым.
О непришедшем, о небывшем
Уже все реже говорим.

И даже в мыслях, как бывало,
Не рвемся в огненную даль,
Как будто прошлого не мало,
И настоящего не жаль.

*

Будет больно. Не страшно, а странно.
Слишком просто и слишком легко.
Вот расплата за годы обмана,
Вот обещанный «вечный покой»!

Ни печали, ни слез, ни тревоги,—
Равнодушье во всем и везде.
Будет трудно подумать о Боге,
И неловко смотреть на людей.

А потом — (но не все ли равно?)
Очень холодно, сыро, темно.

Я люблю заводные игрушки,
И протяжное пенье волчка.
Пряди русых волос на подушке
И спокойный огонь камелька.

Я люблю в этом тихом покое,
После бешеной суголоки дня,
Свое сердце, совсем ледяное
Хоть немножко согреть у огня.

Я люблю, когда лоб мой горячий
Тронет ласково чья-то ладонь.
А в углу — закатившийся мячик
И бесхвостый, облупленный конь.

Позабыв и тоску и усталость,
Так легко обо всем говорить . . .
Это все, что мне в жизни осталось,
Все, что я научилась любить.

ДОВИД КНУТ

Я не умру. И разве может быть,
Чтоб — без меня — в ликующем
пространстве
Земля чертила огненную нить
Бессмысленного, радостного странствия.

Не может быть, чтоб — без меня — земля,
Катясь в мирах, цвела и отцветала,
Чтоб без меня шумели тополя,
Чтоб снег кружился, а меня — не стало!

Не может быть. Я утверждаю: нет.
Я буду жить, тугой, упрямолобый,
И в страшный час, в опустошенном
сне,
Я оттолкну руками крышку гроба.

Я оттолкну и крикну: не хочу!
Мне надо этой радости незрячей!
Мне с милою гулять — плечом к плечу!
Мне надо солнце словом обозначить!..

Нет, в душный ящик вам не уложить
Отвергнувшего тлен, судьбу и сроки.
Я жить хочу, и буду жить и жить,
И в пустоте копить пустые строки.

КИШИНЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ

Я помню тусклый кишиневский вечер:
Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
Где жил курчавый низенький
чиновник —
Прославленный кутила и повеса —
С горячими арапскими глазами
На некрасивом и живом лице.

За пыльной, хмурой, мертвой Азиатской,
Вдоль жестких стен Родильного Приюта,
Несли на палках мертвого еврея.
Под траурным несвежим покрывалом
Костлявые виднелись очертанья
Обглоданного жизнью человека.
Обглоданного, видимо, настолько,
Что после нечем было поживиться
Худым червям еврейского кладбища.

За стариками, несшими носилки,
Шли кучкою глазастые евреи.
От их заплесневелых лапсердаков
Шел сложный запах святости и рока,
Еврейский запах — нищеты и пота,
Селедки, моли, жареного лука,
Священных книг, пеленок, синагоги.

Большая скорбь им веселила сердце,
И шли они неслышною походкой,
Покорной, легкой, мерной и неспешной,
Как будто шли они за трупом годы,
Как будто нет их шествию начала,
Как будто нет ему конца . . . Походкой
Сионских — кишиневских — мудрецов.

Пред ними — за печальным черным
грузом
Шла женщина, и в пыльном полумраке
Не видно было нам ее лицо.

Но как прекрасен был высокий голос!
Под стук шагов, под слабое шуршанье
Опавших листьев, мусора, под кашель
Лилась еще неслыханная песнь.
В ней были слезы сладкого смиренья,
И преданность предвечной воле Божьей,
В ней был восторг покорности и
страха . . .
О, как прекрасен был высокий голос!

Не о худом еврее, на носилках
Подпрыгивавшем, пел он — обо мне,
О нас, о всех, о суете, о прахе,
О старости, о горести, о страхе,
О жалости, тщете, недоуменьи,
О глазках умирающих детей . . .
Еврейка шла почти не спотыкаясь,
И каждый раз, когда жестокий камень

Подбрасывал на палках труп, она
Бросалась с криком на него — и голос
Вдруг ширился, крепчал, звучал
металлом,
Торжественно гудел угрозой Богу,
И веселел от яростных проклятий.
И женщина грозила кулаками
Тому, Кто плыл в зеленоватом небе,
Над пыльными деревьями, над трупом,
Над крышею Родильного Приюта,
Над жесткою, корявою землей.
Но вот пугалась женщина себя
И била в грудь себя, и леденела
И каялась надрывно и протяжно,
Испуганно хвалила Божью волю,
Кричала исступленно о прощеньи,
О вере, о смирении, о вере,
Шарахалась и ежилась к земле
Под тяжестью невыносимых глаз,
Глядевших с неба скорбно и сурово.

Что было? Вечер, тишь, забор, звезда,
Большая пыль . . . Мои стихи в
«Курьере»,
Доверчивая гимназистка Оля,
Простой обряд еврейских похорон
И женщина из Книги Бытия.
Но никогда не передам словами
Того, что реяло над Азиатской,
Над фонарями городских окраин,
Над смехом, затаенным в подворотнях,
Над удалью неведомой гитары,

Бог знает где рокочущей, над лаем
Тоскующих рышкановских собак.

... Особенный, еврейско-русский
воздух ...
Блажен, кто им когда-либо дышал.

ВЛ. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ

ДВОЙНИК

Весенний ливень неумелый,
От частых молний днем темно,
И облака сирени белой
Влетают с грохотом в окно.

Земля расколота снаружи,
Сосредоточенна внутри, —
Танцуют в темносиней луже
И лопаются пузыри.

И вдруг, законы нарушая,
Один из них растет, растет,
И аркой радуга большая
Внутри его уже цветет.

Освобождаясь понемногу
От вязкой почвы и воды,
Он выплывает на дорогу,
Плывет в бурлящие сады.

И на корме его высокой
Под флагом трепетным возник
Виденьем светлым иль морокой
Мой неопознанный двойник.

Я рвусь к нему, но он не слышит,
Что я вослед ему кричу, —
Под ним сирень как море дышит,
В своих волнах его колышет
И влажно хлещет по плечу.

*

Лазурь воскресная чиста,
Все так легко и невесомо, —
Свет бьет из каждого куста,
Из каждой скважины и дома.

Мечтатель в шляпе голубой
Влюбленных провожает взглядом,
Веселые шары гурьбой
Взлетают над притихшим садом.

В упругом воздухе паря,
Они всплывают поплавками,
Вальсируют под облаками,
Иль, новый танец сотворя,

Ввысь устремляются прыжками
(В бессмертье, проще говоря),—
И, лопнув, падают клочками
Наморщенного пузыря.

А мы под зонтиком цветным
За кружкой пива полудремлем,
Табачный отгоняем дым, —
Мы краем слуха сонно внемлем
Невнятным шумам площадным.

*

Еще не глядя, точно знаю,
Чем тронуты твои черты, —
Как будто сердцем вспоминаю
Тот мир, которым дышишь ты.

Как будто не было меж нами
Ни столкновений, ни преград,
Как будто вещи говорят
Со мной пророческими снами.

Да, я люблю, и ты за мной
Готова следовать послушно,
Но нетревожно, равнодушно,
Но отдаленно, стороной.

И часто в слабости любовной
Клонясь на грудь твою, в тиши
Я слышу сердца бег неровный
И дрожь холодную души.

И сквозь опущенные веки
Я вижу в темном забытьи
Невоплощенный образ некий, —
Черты грядущие твои.

ЛИСТЬЯ

Е. Ю. Рапп

Сырые листья вдоль дороги
Туманным золотом блестят,
Они уже полны тревоги,
Срываются, но не летят.

Дай срок. Пусть ржавчина их тронет,
Сожжет морозная земля,
Пусть ветер северный угонит
Их в одичалые поля.

От зимних бурь они проснутся
И, сталкиваясь на лету,
Шумящим роем унесутся
В ночь, и в ночную высоту.

*

Звезда скатилась на прощанье,
Твой взор зажегся и погас, —
Лишь эхо слушает молчанье,
Соединяющее нас,

И ясно повторить готово,
Рассыпать по ночным кустам
Уже прильнувшее к устам,
Еще не сказанное слово.

Ю. КРУЗЕНШТЕРН-ПЕТЕРЕЦ

ТУРГЕНЕВ

Эти грустные окна в паутинном уборе,
Синеватые окна, за которыми ныне,
Никого не обманет, ни улыбкой, ни взором,
Простодушная Лиза... И падет, словно иней
Старина —
на приветливость тесную горницы,
На просторы зеркал... на точеные пяльцы,
На тяжелые веки добровольной затвор-
ницы,
Что колола иголкой дрожавшие пальцы.
И забвенье...
И холод...
И мука томления
Над роялем...
Но музыка вальса немецкого
Вдруг промчится по саду тревогой весен-
нею...
Зарыдает,
окликнет,
обнимет Лаврецкого.

ДОННА АННА

Тихими тяжелыми шагами
В дом вступает командор.

А. Блок

Роли изменились, донна Анна.
В ложе — вы, которой бредил Блок.
Нынче я на сцене, как ни странно,
Начинаю вдовий монолог.

Анна, я старее вас намного,
Знаю, как мучительна тоска,
Но скажите, вы ли, недотрога,
Полюбить сумели пошляка?

Командор — не статуя, что просто
И легко куда-то сдвинуть прочь.
Вспомните,— от свадьбы до погоста
Рядом с вами, день и ночь.

Пусть порою жизнь была не сладкой,
Пусть она не все уберегла,
Но ведь и железная перчатка
Может быть по своему тепла.

Страсть, безумье — разве это ново?
Это — то, что порастет травой.
Анна. Страшно обмануть живого.
Командор — он был живой.

Господи. Ну если бы за шторой,
Где сейчас не видно нам ни зги,
Если б моего мне командора
Услыхать знакомые шаги.

Как бы полетела я навстречу,
Как бы снова стала молода.
Анна. Анна. В зале гаснут свечи,
Свечи гаснут от стыда.

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА

. . . И я уйду с земли в такой же дряхлый день.
Меня по улицам, вдоль мокнущих заборов,
Чужие повезут . . . Клочки цветных афиш,
Скупое небо, ветер, веток нищий хворост —
Зимою западной опустошенный день . . .

Как холодно тогда в гробу моем железном,
На изголовьи низком, в саване чужом,
Лежать мне будет. Металлическим венком,
Скрежещущим оцепенелыми цветами,
Украсят черный безобразный катафалк . . .

А я любила свет, великолепный снег,
Над аметистом моря гаснущее солнце,
И капюшоны сосен величавых, —
И кисти красные серебряных рябин,
И купола, плывущие в лазури.

*

Застыла ночь, над облаком ветвей
Жемчужное рассыпав ожерелье,
И ровно в полночь будит соловей
Листву олив серебряною трелью.

И снится мне, что мы в саду пустом,
В аллее пальм и в сени их могильной,
И в теплой тьме овеян темный дом
Гелиотропа запахом ванильным.

И мы опять в той сказочной стране,
Где вздохи трав и звезды — все иное,
И ты такой, каким был послан мне
Среди сверканья, золота и зноя.

*

Опять на взгорьях тонкая трава,
В пустых аллеях теплый ветер веет,
И мраморной богини голова
Над чащами, где пар и синева,
Узлом высоких кос своих белеет.

И я гляжу на этот синий дым,
На гладкие колонны темных буков,
На темный луг, легко сходящий к ним,
И за волненьем сладостным моим —
Рождение мучительное звуков.

*

Я возвращалась в сумерки. Над садом
Стояла светлолицая луна.
Вдруг мира неземная тишина
Вошла в меня весенним сладким ядом,
И я остановилась... Мир молчал.
Алмаз звезды над сучьями играл.
Под соснами лежали тени, рядом
Белела невысокая стена...
Стучало сердце... Я была одна.

АНТОНИН ЛАДИНСКИЙ

КАИРСКИЙ САПОЖНИК

По дорогам печальным
Путешествовать нам,
А воздушным и бальным
Туфелькам — по балам,

И по мраморным струям
Лестничных ниагар
Нисходить к поцелуям,
Не ходить на базар.

Из прекрасной темницы
Вы бежали стремглав,
В золотистой пшенице
Туфельку потеряв.

В этом горестном мире —
Темен воздух земли —
На базаре в Каире
Жил сапожник Али.

Он в убогой лачуге
Починял башмаки.
У суровой подруги —
Тяжкие кулаки,

От супруги сварливой
Только слышишь в ответ:
— Ах, осел ты ленивый,
Ах бездельник, поэт!

И когда с караваном
Уплывал он сквозь сон,
Под хрустальным фонтаном
Принцем делался он,—

Перебранки и грозы
Настигали и в снах,
И туманная роза
Таяла на глазах.

Звезды так умирают
В аравийском песке,
Так стихи погибают
На второй же строке,

Так в курятниках душных
Птицы жаждут весь день
На крылах непослушных
Улететь за плетень,

Но в заботах о пище
Вновь стучит молоток,
Зерен маленьких ищет
Круглый птичий глазок.

За высокой стеною
Мир прекрасен! А мы
Зябнем под синевою,
Как в сугробах зимы.

Ваши гневные брови
Выше каменных стен,
И темницы суровей
Лба холодного плен,

Но заказчик стучится
И приносит заказ,
А такие ресницы
Не для нас, не для нас.

*

О чем ты плакала, душа моя,
Вздыхая за решеткой бытия,

Куда рвалась, как пленница, в слезах,
Искала выход голубой впотьмах,

В какие небеса взлетала ты
Из этой неприглядной темноты,

И музыке какой внимала там,
Где ангелы и звезды по ночам,

Зачем ты возвратилась к нам опять,
Чтоб на земле томиться и вздыхать?

И отвечает горестно она:
— Еще я к райской жизни не годна,

Еще я не сгорела на огне,
Еще не выплакалась в тишине,

Еще не научилась я любить,
Еще мне надо у людей пожить.

Т. А. Д. Т.

О, Дания, дальний предел
Всех наших мечтаний о том,
Чего не бывает у нас
Средь скучных и маленьких дел
На бедной земле без прикрас.

Но милые руки, как лед.
Все горестнее тишина,
Все тише и тише плывет
Над башнями замка луна.

О, Дания, меркнет твой свет.
Твой принц умирает . . . В конце
Печальнейших странствий —
ответ
На этом прекрасном лице.

И в лунном беспамятстве он,
Средь черных и страшных теней,
В бреду вспоминает сквозь сон
О шпаге, о славе своей,
О маленькой женской руке,
О шорохе датских древес,
О темной и сладкой строке,
Слетевшей, как ангел,
с небес . . .

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ

Не может быть, чтоб этот мир
трехмерный,
куда-то уносящийся в веках,
мир святости, любви — и тьмы
и скверны
и красоты божественно-неверной,
чтоб этот мир был только прах...

Не может быть, чтоб огненная
сила,
пронзающая персть, была мертва,
и правды благодатной не таила
испепеляющая все могила —
все подвиги, все жертвы, все
слова.

Не может быть, чтоб там, за небесами,
за всем, что осязает наша плоть,
что видим мы телесными глазами,
не веял Дух, непостижимый нами,
не слышал нас Господь.

*

Не покоряйся искушенью,
безбожному не верь уму,
не верь тоске, не верь сомненью,
не верь неверью своему.
Нет, не по прихоти случайной
бездушной персти ты возник.

Лицом к лицу пред вечной тайной,
в ничтожестве — о, как велик!
Всему единое мерило,
всего единый судия —
твое сознанье озарило
слепые бездны бытия...

СОЧЕЛЬНИК

В эту ночь, когда волхвы бредут пустыней
за звездой, и грезятся года
невозвратные — опять из дали синей
путь указывает мне звезда.

Что это? Мечты какие посетили
сердце в ночь под наше Рождество?
Тени юности? любовь? Россия? или —
привиденья детства моего?

Тишиной себя баюкаю заветной,
помня всё, всё забываю я
в этом сне без сна, в печали беспредметной,
в этом бытии небытия.

ОГАРОК

Погаснет электричество в квартире —
спешишь огарком заменить.
И станет в комнате и в целом мире
все по-другому как-то быть...

Нарушен установленный порядок,
насторожилась тишина.
Предчувствий, обольщающих догадок
душа встревоженно полна.

Как маленький огарок, луч вливая
в заманивающую тьму,
она мерцает призрачно-живая,
подобная во всем ему.

Фитиль то вспыхнет, то как бы от страха
зажмурится. И вновь темно...
И громче дряхлая бормочет Пряха,
жужжит веретено.

ДОЖДЬ

Ах, воистину чудесен
день весенний! Даже в дождь.
Лес мне дорог и без песен,
сладок запах мглистых рощ.

В гнездах прячутся наседки,
плачет небо, на траву
тихо каплет с каждой ветки
сквозь намокшую листву.

Низко облака над лесом.
Грустно, сыро и темно.
Пусть! И дождевым завесам
завораживать дано.

Лужи, грязь, вода в овраге.
Дождь . . . А все ж как хороша
этой животворной влаги
лес обнявшая душа!

ВИКТОР МАМЧЕНКО

Сияет свет утра. Сияние беспечно
На крыльях бабочки (весенним днем
в глазах людей взволнован он извечно
всепретворяющим каким-то бытием).

Беги, дитя, за райским излученьем
Из глаз твоих струящимся, беги,
Не растеряй его высокое значенье,
Улыбкой верности как счастье сбереги.

И я, и ты, — мы оба не случайно
В пожар земли не верим, не хотим;
Ты — радостью, я — радостью
печальной,
Быть может, к звездам скоро улетим.

«МОНПАРНАСС»

Тихо-тихо, еле слышно —
И порочны и сухи —
Лепестками розы пышной
Обрываются стихи
О разлуке-умираньи
О неправедной судьбе;
В час похмелья, очень ранний,—
О любви и о себе.
И покорность фразой слезной
Бьется в жалобный рассвет,
Этой ночью, вновь беззвездной,
Стало ясно: счастья нет.
— Счастья не было, не будет,
Где подруга, где вино . . .
Эта тоже позабудет,
Как забытая давно . . .—
«Милый, милый,— час рассвета,
Нам пора, пора давно;
Как мне больно, песня эта —
Будто смерть». . .— Мне все равно:
Солнце страшное нам светит
В кокаине и тоске;
Кто-нибудь в аду ответит
Раной черной на виске . . .—
. . . В расставаньи, в умираньи
И на грани пустоты,—
На рассветной синей длани
Стынут дымные мосты.
Бестелесно, в чадном круге —

И безвольно как-нибудь —
Руки протянуть подруге,
Голову склонить на грудь...
И уходят наважденья,
Только пепел на софе
Стынет прахом всесожженья
Душ сгорающих в кафе.
На заре предсветной, алой,
Будто созданный мечтой,
Встал народ незримой славой —
Трудной, творческой, простой.

В ТИШИНЕ

Близким счастьем захотела
Поделиться ты со мной,
Теплой пчелкой пела, пела
Над весеннею землей.

И зеленый воздух светом
Так высок был, и тобой
Так звенел он в свете этом
Над мерцающей травой,

Что я верил в росной роще:
Будет радость на века,
Будет трепетней и проще
И, как песнь твоя, легка.

АКВАРЕЛЬ

Рыжий лебедь за решёткой
В звездных чарах умирает
Время дней чертою четкой
Потонуло в черном рае.
В черном рае потонула
Крыльев легкая свобода;
Прерван мост земного гула;
Все уснуло, все уснуло
В надвигающихся водах.

Волны хладные глубоки,
Злобной пеною покрыты,
И на дне — глубоко сроки
Светом синим перевиты.
Отбивают крылья пену,
Прорываются до чуда . . .
Не похожа на измену,
Не похожа тоже плену —
Крыльев огненная груда.

ЮРИЙ МАНДЕЛЬШТАМ

Моя дорога, столько лет все та же!
Уже давно я знаю каждый камень.
Ее мне память, как всегда, подскажет
Под низкими, ночными облаками.

Иду наедине с самим собою.
Ночной, холодный воздух сушит
слезы.
И только ветер набежит порою,
Пересечет мне путь своей угрозой,

Да запоздалый путник, озираясь,
С улыбкой, недоверчивой и странной,
Сторонится, чтоб не задел, шатаясь,
Ночной бродяга, сумрачный и пьяный.

Мой милый друг, остановись, послушай!
Осушит ветер стынущие слезы . . .
Все меньше сил, мои шаги все глуше . . .
Дай руку мне . . . Не слышит. Слишком
поздно.

*

Поля без конца, без предела,
Где ночью рождаются сны,
А днем пролегает несмело
Граница соседней страны,

Где пахнет цветами и летом,
И сеном, и свежестью рос,
И душным июльским ответом
На робкий весенний вопрос...

Я слышу жужжанье, и шёпот,
И шорох, и легкий полет,
И горький бессмысленный ропот
В усталой душе не встает.

Сюда приходил я и прежде
От пыльной судьбы городской,
В неясной и чудной надежде,
В желанный, но смутный покой.

Теперь я вернулся на волю,
Но только вернулся другим —
И легче беседовать полю
С внимательным сердцем моим.

*

Какая ночь! Какая тишина!
Над спящею столицею луна
Торжественною радостью сияет.
Вдали звезда неясная мерцает
Зеленым, синим, розовым огнем.
И мы у темного окна, вдвоем,
В торжественном спокойствии
молчанья —
Как будто нет ни горя, ни войны,
Внимаем вечной песне
мирозданья,
Блаженству без конца обручены.

*

Сколько нежности грустной
В безмятежной Савойе!
Реет вздох неискусный
В тишине и покое.

Над полями, в сияньи
Тишины беспредельной,
Реет вздох неподдельный,
Как мечта о свиданьи.

Этой грусти без края
Я значенья не знаю,
Забываю названье
В тишине и сияньи.

Реет легкая птица,
Синий воздух тревожит.
Если что-то свершится . . .
Но свершиться не может.

Что же, будем мириться
С тишиною и светом
Этой грусти бесцельной,
С этим летом и счастьем
Тишины беспредельной.

МАТЬ МАРИЯ

ПОКАЯНИЕ

Я верю, Господи, что если Ты зажег
Огонь в душе моей, то не погаснет пламя,
Что Ты не только там, но что и здесь Ты
с нами,
В любви и творчестве наш христианский Бог.

И верую: придет неизреченный свет
С востока в этот мир — воистину неложно —
И то, что кажется сегодня невозможно,—
Раскроется в труде несовершенных лет.

Тогда настанет день: на широту миров —
Во всем преодолев стихию разрушенья —
Творца мы прославлять восстанем из гробов,
Исполнив заповедь любви и воскрешенья.

И будет новый мир и в мире — Новый Град,
Где каждый светлый дом и в доме каждый
камень
Тобою, Отче наш, преображенный Лад,
Воздвигнутый из тьмы сыновними руками.

*

Земли Твоей убогое житье,
Твоих людей убогая работа . . .
Какое-то звериное чутье
Мне говорит: не жди у поворота.

Пославший в мир послал нас не за тем,
Чтоб только сравнивать, как непохожи
Земля изгнанья и былой Эдем,
Иль лоно праотцев и это ложе.

Был этот тварный мир добро зело,
Стал тварный мир границей преисподней.
Но чую я, — вот шелестит крыло
Всю тварь пронзающей любви Господней.

Все, что привычно, что всегда вблизи,—
Борьба за жизнь, работа, скука, будни, —
Всего коснись и все преобрази,
Ты, — Солнце незакатного полудня.

Вот голый куст, а вот голодный зверь,
Вот облако, вот человек бездомный.
Они стучатся. Ты открой теперь,
Открой им дверь в Твой дом, как мир,
огромный.

О, Господи, я не отдам врагу
Не только человека, даже камня.
О имени Твоем я все могу,
О имени Твоем и смерть легка мне.

*

Два треугольника — звезда,
Щит праотца, отца Давида,
Избранье — а не обида,
Великий дар — а не беда.

Израиль, ты опять гоним
Но что людская воля злая,
Когда тебе в грозе Синая
Вновь отвечает Элогим!

Пускай же те, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научатся душою вольной
На знак неволи отвечать.

ВЛАДИМИР МАРКОВ

ГУРИЛЕВСКИЕ РОМАНСЫ

(отрывки)

Я люблю одну Россию —
Невозвратно дорогую;
И сейчас, под шорох липы
И жужжанье пчел прилежных
Вдруг и страстно захотелось
Погрустить о ней немного
Светлой, пушкинской печалью:
О давно поблекшем блеске,—
Локонах и бакенбардах,
Кружевах и медальонах;
О каретах, клавесинах,
С колоннадами усадьбах,
Где овальные портреты
Над столом из рам узорных
Смотрят пристально, пытливо,
И никак не разгадаешь,
В них усмешка иль серьезность;
Где в столе, в резной шкатулке,
Сплошь источенной червями —
Связка пожелтелых писем,
Перевязанная лентой
(И округлый женский почерк,

Словно капли слез горючих).
Там где памяти границы
Расплылись, мечты коснулись,
Знаю я одну такую
Позабытую усадьбу.
В каждой комнате там был я,
Пальцем проводил по пыли,
Покрывающей портьеры,
Переплеты книг и спинки
Расшатавшихся диванов.
А когда она входила,
В венских локонах и бантах
(И Наталью Гончарову
Чем-то чуть напоминая),
Я следил, как плечи плыли,
Как шуршащие воланы
Задевали за предметы.
Иногда она садилась
К дедовскому клавесину:
Нот раскрытая страница,
Лебединый выгиб кисти,
Приглушенное звучанье.
А когда она вставала
И захлопывала крышку,
Я по вьющимся дорожкам
Уходил в дремучесть сада,
Где — пруды,— и гладь немая
Заросли зеленой ряской,
Где в аллеях даже в солнце
Скорбно, счастливо и сыро,
Где густые липы дремлют
И лучей не пропускают.

Но когда случайный ветер
Пробежит по листьям липы,
С черешков по веткам-сучьям
До ствола волной проникнет,—
Все что называют важным
Сразу позабудь и слушай:
Липы сами все расскажут,
А тебе лишь остается,
Записную книжку вынув,
Поспевать за их рассказом.

*

В этой комнате на стенках
Светотени от лампадки,
И в окно стучатся липы.
Стулья, важно подбоченясь,
Темнотою недовольны.
Свечку только что задули,
И она, ко сну готовясь,
Остывает и твердеет.
И роман французский дремлет;
В нем сафьянная закладка,
У очередной страницы
На ночлег остановившись,
Тихо с буквами болтает.
Только зеркало ни разу
Ночью глаз сомкнуть не сможет,
Отражая терпеливо
Каждый угол, каждый лучик.
На столе скучают перья
И молчат всю ночь шкатулки;

В тех шкатулках много писем,
Тихих, теплых, строгих, светлых.

Я б хотел начать поэму
О столе из этой спальни:
Что он думает, какие
У него друзья и сколько
Разных трещин и царапин
На его дубовой ножке.
И о трещинах подробно;
Об одной, о самой главной,
Что прилежной тонкой змейкой
Вдоль сухих волокон вьется,
Как река на пестрой карте.

А под тонким одеялом
Тело как бы потерялось,
Лишь лицо, уставясь в угол,
Смотрит остро, напряженно
На икону золотую
С потемневшим ликом Девы . . .

НИКОЛАЙ МОРШЕН

Он прожил мало: только сорок лет.
В таких словах ни слова правды нет.
Он прожил две войны, переворот,
Три голода, четыре смены власти,
Шесть государств, две настоящих страсти.
Считать на годы — будет лет пятьсот.

*

С глазами-бусинками примитивной
твари
Большая крыса кверху животом
На пыльном и горячем тротуаре
Лежала с переломанным хребтом.

А мимо люди шли. Переступали
Через нее — уже в который раз —
И каблуки мелькали и мелькали,
Как молоты, у самых крысьих глаз.

В блестящих глазках не был виден
ужас,
Но в глубине он дрожью нарастал
И пробегал от усиков и ушек
До длинного и мерзкого хвоста.

И было как-то жутко и тоскливо,
И смерть особенно страшила нас.
Но мы болтали. Стоя, пили пиво . . .
Мелькали каблуки у крысьих глаз.

*

На Первомайской жду трамвая.
Вокзал гудит передо мной.
Калека-нищий, завывая,
Сидит у самой мостовой.

Трамвай подходит, но не мой.

Идет безбровый и прыщавый
Полудешевой пудры слой,
А рядом чубчик кучерявый
И зуб с коронкой золотой.

Трамвай подходит, но не мой.

Платочек в серенький горошек
Людской выносится волной
И, пометавшись у подножек,
Вдруг исчезает на одной.

Трамвай подходит, но не мой.

Тень на сугробе под часами
В высокой шапке меховой.
Она с другими голосами
Смеется за моей спиной.

Который час? Уже восьмой.

Гудят заводы. На вокзале
Всем шепчет серое пальто:
«Ты, вы, они, мы опоздали!»,
И, глядя с ужасом на то,
Как ужас искажает лики,
Которых нет передо мной,
Я вдруг мычу нелепым криком,
Как раненый глухонемой —

И просыпаюсь. Боже мой!

*

Как круги на воде, расплывается страх,
Заползает и в щели и в норы,
Словно сырость в подвалах — таится
в углах,
Словно ртуть — проникает сквозь поры.

Дверь на крюк! Но тебе не заклясть
свой испуг
Конурою, как норы понурой:
Он порочен твой круг, твой магический
круг
Нереальной своей квадратурой.

За окном, где метель на хвосте, как змея,
Вьется кольцами в облаке пыли,
Возвращается ветер на круги своя
И с решетками автомобили.

Горизонт, опоясавший город вокруг,
Застывает стеною сплошною.
Где-то на море тонет спасательный круг,
Пропитавшийся горькой водою.

А вдали, где полгода (иль более) мрак,
Где слова, как медведи косматы:
Воркута, Магадан, Колыма, Ухтпечлаг...
Как терновый венец или Каина знак —
Круг полярный, последний, девятый.

*

Он снова входит в парк. Давным-давно
Здесь был бассейн. Припомнилось опять,
Как у бассейна... Впрочем, все равно:
Он учится былое забывать.

И все ж туда из темноты аллей
Выходит он на ветер сентября.
Над водоемом светит Водолей,
А по бокам — два желтых фонаря,

Которые, расталкивая тьму,
Твердят о том, что высох водоем
И что не стоит больше одному
Скитаться там, где хожено вдвоем.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

По-осеннему воздух чист.
Пала изморозь и не тает.
Обрывается желтый лист,
Обрывается и слетает.

И не может понять он вдруг,
Не в бреду ли ему приснилось:
Почему это все вокруг
Покачнулось и закружилось?

Кувыркаются облака,
Опрокинулось поднебесье.
И такая во всем тоска
Об утраченном равновесье.

ВЛ. НАБОКОВ-СИРИН

В РАЮ

Моя душа,— за смертью дальной
твой образ виден мне вот так:
натуралист провинциальный,
в раю потерянный чудак.

Там в роще дремлет ангел дикий,—
полупавлиные существо...
Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,

соображая, как сначала
о нем напишешь ты статью,
потом... Но только нет журнала
и нет читателей в раю.

И ты стоишь, еще не веря
немому горю своему...
Об этом синем, сонном звере
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,
музей и птичьи чучела?
И смотришь, смотришь ты сквозь
слезы
на безымянные крыла...

*

Я помню твой приход: растущий звон,
волнение, неведомое миру.
Луна сквозь ветки тронула балкон,
и пала тень, похожая на лиру.

Мне, юному, для неги плеч твоих
казался ямб одеждой слишком грубой.
Но был певуч неправильный мой стих
и улыбался рифмой красногубой.

Я счастлив был. Над гаснувшим столом
огонь дрожал, вылущивал огарок;
и снилось мне: страница под стеклом,
бессмертная, вся в молниях помарок.

Теперь не то. Для утренней звезды
Не откажусь от утренней дремоты.
Мне не под силу многие труды,
особенно — тщеславия заботы.

Я опытен, я скуп и нетерпим.
Натертый стих блистает пуще меди.
Мы изредка с тобою говорим
через забор, как старые соседи.

Да, зрелость живописна, спору нет:
лист виноградный, груша, пол-арбуза
и — мастерства предел — прозрачный
свет.
Мне холодно. Ведь это осень, муза!

*

Мы с тобою так верили в связь бытия,
но теперь оглянулся я — и удивительно,
до чего ты мне кажешься, юность моя,
по цветам не моей, по чертам недействительной!

Если вдуматься, это — как дымка волны
между мной и тобой, между мелью и тонущим;
или вижу столбы и тебя со спины,
как ты прямо в закат на своем полутоночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой
всякой первой главы — а как долго нам верилось
в непрерывность пути от ложбины сырой
до нагарного вереска.

ПОЭТЫ

Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет. Плывет отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.

Пора, мы уходим — еще молодые,
со списком еще не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас доконали,
и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть
своею свободою добрых людей.
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира,
окна в отдаленьи поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;

красы, укоризны; детей малолетних,
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних
красы, укоризны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит;
рыданья рекламы на том берегу,
текучих ее изумрудов в тумане,
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского
в ту область... как хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,
иль, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги тележной,
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны — любви безнадежной —
молчанье зарницы, молчанье зерна.

БОРИС НАРЦИССОВ

УГАР

Улеглись и уснули люди.
На столе в потемках допел самовар.
И тогда, почуяв, что не разбудит,
Из печки тихонько вылез угар.

Нырял и качался летучей мышью,
По комнатам низко паря.
Худыми руками, незрим и неслышим,
Ощупывал бледный свет фонаря.

А когда услышал дыханье ребенка,
Подполз с перекошенным лицом,
И пальцы его, как нити тонкие,
Сомкнулись на горле кольцом.

Так за ночь никого в живых не оставил,
Ползал и нежился в печном тепле.
И только будильник, как лунный дьявол,
Круглым лицом сиял на столе.

*

В этом доме чертей плодили
По чуланам и темным углам.
По запечьям кикиморы выли
Шевеля позабытый хлам.

А кикиморы любят, где жутко.
А в потемках кикимора — вскачь.
Тоже любит, свернувшись закруткой,
Слушать в спальнях придушенный плач.

Ну, а этого в доме довольно:
Сжатых губ и заплаканных глаз.
Знай, что если кому-нибудь больно,
То у пыльных под крышею пляс.

В этом доме сначала намучат,
А потом утешают — «не плачь».
А от этого нежить мяучит,
А потом кувыркнется и — вскачь.

ПАУК

Горело электричество упорным,
Сухим и мертвым светом над столом.
Шел ровный дождь. Снаружи к стеклам
черным
Прильнула ночь заплаканным лицом.

Ложились вычисления рядами.
Блестели мирно капельки чернил.
И вдруг каким-то чувством над глазами
Я чье-то приближенье ощутил.

Услышал шорох, быстрый и скрипучий;
Взглянул, и на обоях, над столом,
Увидел лапы острые паучьи
Угластым, переломанным узлом.

Вчера он был. И вот сегодня снова.
Приполз и омерзительно застыл.
И ужас одиночества ночного
Колючей дрожью голову покрыл.

Убить его я не могу. Не смею.
Он знает это. В хищной тишине
Смотреть я должен, как сереют
Его кривые лапы на стене.

АЛЕКСАНДР НЕЙМИРОК

РЕШЕТКА

Здесь всё просто, тихо, кротко.
Здесь, как Божьи времена.
Оснеженная решетка,
Черный глянец чугуна.

Сероланые платаны
Спят над розовым прудом.
Онемевшие фонтаны
Стерегут безлюдный дом.

Ты легко проходишь мимо,
Ты обходишь стороной
Этот мир неуловимый
За решеткою сквозной.

И чему-то улыбаясь,
Чей-то образ сохраня,
Ты уходишь, растворяясь
В суете живого дня.

*

Через метели и через грозы
Я слышу, вижу сердцем и кровью,
Что кипарисы, а не березы
У каменного изголовья.

Что мшистый бархат по оградам
Расцвел зеленым, немым цветеньем,
И что никто не станет рядом,
Не станет, преклонив колени.

Но непонятное пророча
(Быть может, радостный полдень рая?)
Псалтырь тебе читают ночи,
Росу холодную роняя.

СОЛНЦЕ

Ветру небесному сердце вручи.
Прошлое — настежь. Наотмашь ключи.
Видишь: нам солнце зажглось в тишине,
Солнце ночное во сне.

Грозные сумерки. Трепетный час.
Солнце, как ястреб с размаху на нас.
Губы и души. Пылающий бред.
«Солнце!» И слов больше нет.

ЮРИЙ ОДАРЧЕНКО

Стоят в аптеке два шара:
Оранжевый и синий.
Стоит на улице жара
И люди в парусине.

Вхожу в аптеку и шары
Конечно разбиваю,
В участке нет такой жары,
А цвет сейчас узнаю.

Горит оранжевый рассвет
На синей пелерине.
Отлично выспался поэт
На каменной перине.

*

Мальчик катит по дорожке
Легкое серсо.
В беленьких чулочках ножки,
Легкое серсо.
Солнце сквозь листву густую
Золотит песок,
И бросает тень большую
Кто-то на песок.
Мальчик смотрит, улыбаясь:
Ворон на суку,
А под ним висит, качаясь,
Кто-то на суку.

ПЛАКАТ

Колесом раскрашенным шумит.
Меж деревьев белый пароходик
Борис Поплавский

Пароход, пароход, пароходик
Красным лезвием режет плакат,
Пассажиры по бортику в ряд,
Опершись о перила стоят,
Путешествию кто же не рад?
Очень рад и стальной пароходик!

Ах как рад, ах как рад пароходик!
Красный носик, а винт позади,
От земли не легко отойти,
Дыму сколько из труб, погляди:
Дым кругом и вода впереди.
Веселее плыви пароходик!

Это новый совсем пароходик:
В трюме нету всезнающих крыс,
Голубеет прозрачная высь,
Он далёко, далеко, вглядись —
Вот и скрылся за радужный мыс.
Очень нравится мне пароходик.

Помолюсь за стальной пароходик.
Шепчет на ухо ангел: «не так
Ты молитву читаешь, чудак.
Повторяй потихоньку за мной:
Со святыми, Господь, упокой
Пароход, пароход, пароходик».

ЧИСТЫЙ СЕРДЦЕМ

По канату слоник идет —
Хобот кверху, топорщатся
уши.
По канату слоник вперед
Сквозь моря продвигается
к суше.

Как такому тяжелому Бог
Позволяет ходить по канату?
Тумбы три вместо маленьких
ног,
А четвертая кажется пятой.

Вдруг в пучину сияющих вод,
Оступившись, скользнет
осторожный?
Продвигается слоник вперед,
Продолжая свой путь
невозможный.

Если так, то подрежем канат,
Обманув справедливого Бога.
Бог почил, и архангелы спят...
«Ах, мой слоник!»...— туда и
дорога!

Все на небе так сладостно спит,
А за слоника кто же осудит?!
Только сердце твердит и твердит,
Что второе пришествие будет.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Из книги: «Стихи, написанные во время болезни»

Я все понимаю и слышу
Не хуже, чем кто другой:
Вот падает снег на крышу,
Бубенчик поет под дугой . . .

И мчатся узкие санки
Вдоль царственно белой Невы. . .
. . . Потом я жила на Званке
В гнезде у вдовой совы.
О том, что было когда-то,
Мне лучше забыть совсем —
Глазастых собак и солдата,
И дочек — их было семь.

Ах, дочки мои — цветочки,
В сияющем райском саду
(. . . А вдруг они тоже в аду? . .)
Довольно! Дошла я до точки
В беспамятстве и бреду,
И дальше, нет — не пойду!

Пожалуйста, сердце не охай
И воздуха не проси —
Пойми, что не так уж и плохо
С тобой нам в Монморанси.

2.

В окнах светится крест аптеки,
Цвет зеленый — надежды цвет.
Мой зеленый, пушистый плед.
Закрываю, как ставни, веки.
Может быть, это счастье навеки,
А совсем ни жар и ни бред.

Разбиваются чайки о снасти,
Разбиваются лодки о льды,
Разбиваются души о счастье...
Далеко до зеленой звезды,
Расцветают крестами сады...

Как мне душно...
Дайте воды!..

*

— За верность, за безумье тост!
За мщенье! .. Пенных кубков звон.
Какой сквозной, тревожный сон.
Узорчатые рукава.
«Дочь пекаря — сова».
... Слова, слова, слова ...
Белеет мост, блестит погост,
О, вихри вздохов, волны слез!
Известно все заранее.
Средь звезд
И роз
Апофеоз
Непонимания.

Высокий королевский дом
В туманной Дании,
И королева с королем
И принц на первом плане.
Прожечь вином,
Залить огнем,
Пронзить рапиры острием.
Ни хмеля, ни похмелья.
Цветы на память, на-потом,
Цветы на новоселие.
Как тихо спит на дне речном
В русалочьей постели,
Как сладко спит бессмертным сном
Офелия ...

БЕССОННИЦА

Ледяная луна в ледяной высоте
Озаряет озябшие вязы и клены.
И на снежной поляне четыре вороны,
Как чернильные пятна на белом листе.

Почему их четыре — не три и не пять?
Почему мне опять ничего не понять?
Почему все меня до смешного тревожит
И ничто на земле успокоить не может?

Если б было ворон или пять или три —
Треугольник или пентагон,
Без затей и затрат
Преудобно улегся бы в сон.
Но четыре вороны — вороний квадрат
Никуда не уложится он.

В черной, душной ночи не горят фонари.
Далеко до луны. Далеко до зари.
Невозможно уснуть и немыслимо спать
Оттого, что ворон-то четыре,
А не три и не пять,

И кругами, кругами все шире и шире
Наплывает тоска обреченности.

Г. АДАМОВИЧУ

Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Тютчев

1

Верной дружбе глубокий поклон.
Ожиданье. Вокзал. Тулон.
Вот мы встретились:
— Здравствуйте — здрасьте!..
Эта встреча похожа на счастье,
На левкои в чужом окне,
На звезду на песчаном дне,
На звезду, утонувшую в море.
— Но постойте, а как же горе?
Как же ужас, что дома ждет?
Как тоска, что в неравном споре
Победит и с ума сведет?

Это пауза, это антракт,
Оттого-то и бьется так
Всем надеждам несбывшимся в такт
Безрассудное сердце мое.
Полу-явь, полу-забытье...

Как вы молоды! Может ли быть,
Чтобы старость играла в прятки,
Налагала любовно заплатки
На все то, что пришлось пережить,—
На страданий остатки — придатки,
На бессонных ночей отпечатки,
Будто не было их?

Не видны!..
И не видно совсем седины
В шелковисто-прямых волосах...

Удивленье похоже на страх.—
Как же так — через столько лет,
Значит правда времени нет?
И уводит девический след
Башмачков остроносых назад
Сквозь сегодняшне-завтрашний ад,
Прямо в молодость. В Летний Сад.

По аллее мы с вами идем,
По аллее Летнего Сада
Ничего мне другого не надо —
Дом Искусств. Литераторов Дом.
Девятнадцать жасминовых лет,
Гордость Студии Гумилева
Николая Степановича.

— Но позвольте, позвольте. Нет,
Это кажется мне сгоряча.
Это выдумка. Это бред.
Мы не в Летнем Саду. Мы в Тулоне.
Мы стоим на тютчевском склоне,
Мы на тютчевской очереди
Роковой, — никого впереди.
Осторожно из-за угла
Наплывает лунная мгла.
Ничего уже не случится.
Жизнь прошла. Безвозвратно прошла.
Жизнь прошла. А молодость длится
Ваша молодость —
И моя.

К. ПОМЕРАНЦЕВ

Завидую тебе. Перед тобою дверь
Распахнута в восторг развоплощенья.

Георгий Иванов

Тысячелетья не было ответа,
И задавать вопрос уже смешно . . .
Врывается бездомная ракета
В открытое отчаяньем окно,
И гаснет мир в лучах иного света.

Но если гибель миру суждена,
Как суждено всем нам уничтоженье,
Не все ль равно — война иль не война,
Не все ль одно весна иль не весна
Таит в себе восторг развоплощенья?

*

Я так скучно, так мелко старею,—
Стал ворчлив, бестолков и болтлив.
Были б деньги — махнул бы в Корею,
В Абиджан или в Тананарив.

Потому что известно с пеленок:
Хорошо только там, где нас нет.
Это скажет вам каждый ребенок,
Каждый русский и каждый поэт.

Потому что, и это известно,
Что проживши всю жизнь наобум,
Нам под старость становится тесно
От себя и от собственных дум.

*

Что если все, о, все без исключенья:
Христос, Лаотце, Будда, Магомет,—
Не то чтобы поверили в виденья,
Но просто знали, что исхода нет,

Что никогда не будет воздаянья,
Там пустота и ледяная тьма,
И лгали нам в безумьи состраданья,
Чтоб жили мы, а не сошли с ума!

*

Нам хочется найти в страданьи
смысл,
Таинственный и страшный смысл
страданья?
Как сердце бьется каторжная мысль
О ледяные стены мирозданья.

Но так же медленно встает луна,
И в царственном сияньи нерушимы
Над черною Голгофой тишина,
И звезды над сожженной
Хиросимой.

БОРИС ПОПЛАВСКИЙ

РОЗА СМЕРТИ

Георгию Иванову

В черном парке мы весну встречали,
Тихо врал копеечный смычок,
Смерть спускалась на воздушном шаре,
Трогала влюбленных за плечо.

Розов вечер, розы носит ветер.
На полях поэт рисунок чертит.
Розов вечер, розы пахнут смертью
И зеленый снег идет на ветви.

Темный воздух осыпает звезды,
Соловьи поют, моторам вторя,
И в киоске над зеленым морем,
Полыхает газ туберкулезный.

Корабли отходят в небе звездном,
На мосту платками машут духи,
И сверкая через темный воздух
Паровоз поет на виадуке.

Темный город убегает в горы,
Ночь шумит у танцевальной залы,
И солдаты, покидая город,
Пьют густое пиво у вокзала.

Низко, низко, задевая души,
Лунный шар плывет над балаганом,
А с бульвара под орган тщедушный,
Машет карусель руками дамам.

И весна, бездонно розовея,
Улыбаясь, отступая в твердь,
Раскрывает темно-синий веер
С надписью отчетливою: смерть.

Восхитительный вечер был полон улыбок и звуков,
Голубая луна проплывала, высоко звуча,
В полутьме Ты ко мне протянула бессмертную руку,
Незабвенную руку, что сонно спадала с плеча.

Этот вечер был чудно тяжел и таинственно душен,
Отступая, заря оставляла огни в вышине,
И большие цветы, разлагаясь на грядках, как души,
Умирая, светились и тяжко дышали во сне.

Ты меня обвела восхитительно медленным взглядом
И заснула, откинувшись навзничь, вернулась во сны.
Видел я, как в таинственной позе любуется адом
Путешественник ангел в измятом костюме весны.

И весна умерла, и луна возвратилась на солнце,
Солнце встало; и темный румянец взошел.
Над загаженным парком святое сиянье пропало,
Мир воскрес и заплакал и розовым снегом отцвел.

ФЛАГИ

В летний день над белым тротуаром
Фонари висели из бумаги.
Трубный голос шамкал над бульваром,
На больших шестах мечтали флаги.

Им казалось море близко где-то,
И по ним волна жары бежала.
Воздух спал, не видя снов, как Лета.
Всех нас флагов осеняла жалость.

Им являлся остов корабельный,
Черный дым, что отлетает нежно,
И молитва над волной безбрежной
Корабельной музыки в сочельник.

Быстрый взлет на мачту в океане,
Шум салютов, крик матросов черных
И огромный спуск над якорями
В час паденья тела в ткани скорбной.

Первым блещет флаг над горизонтом
И под вспышки пушек бодро вьется
И последним стонет средь обломков
И еще крылом о воду бьется.

Как душа, что покидает тело,
Как любовь моя к Тебе. Ответь!
Сколько раз Ты в летний день хотела
Завернуться в флаг и умереть.

МОРЕЛЛА

Фонари отцветали и ночь на рояле играла,
Привиденье рассвета уже появилось в кустах.
С неподвижной улыбкой Ты молча зарю озирала,
И она, отражаясь, синела на сжатых устах.

Утро маской медузы уже появлялось над миром,
Где со светом боролись мечты соловьев в камыше.
Твой таинственный взгляд, провожая созвездие Лиры,
Соколиный, спокойный, не видел меня на земле.

Ты, орлиною лапой, разорванный жемчуг катала,
Ты как будто считала мои краткосрочные годы.
Почему я Тебя потерял? Ты как ночь мирозданьем играла.
Почему я упал и орла отпустил на свободу?

Ты, как черный орел, развевалась на желтых закатах,
Ты, как гордый, немой ореол, осеняла судьбу.
Ты вошла, не спросясь, и отдернула с зеркала скатерть
И увидела нежную девочку-вечность в гробу.

Ты, как нежная вечность, расправила черные перья,
Ты на желтых закатах влюбилась в сиянье отчизны,
О, Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни,
Будь, как черные дети, забудь свою родину — Пэри!

Ты, как маска медузы, на белое время смотрела,
Соловьи догорали и фабрики выли вдали,
Только утренний поезд пронесся, грустя, за пределы,
Там где мертвая вечность покинула чары земли.

О, Морелла, вернись, все когда-нибудь будет иначе,
Свет смеется над нами, закрой снеговые глаза.
Твой орленок страдает, Морелла, он плачет, он плачет,
И как краска ресниц, мироздание тает в слезах.

*

Снег идет над голой эспланадой;
Как деревьям холодно нагим,
Им должно быть ничего не надо,
Только бы заснуть хотелось им.

Скоро вечер. День прошел бесследно.
Говорил; измучился; замолк.
Женщина в окне рукою бледной
Лампу ставит желтую на стол.

Что же Ты, на улице, не дома,
Не за книгой, слабый человек?
Полон странной снежною истомой
Смотришь без конца на первый снег.

Все вокруг Тебе давно знакомо.
Ты простил, но Ты не в силах жить.
Скоро ли уже Ты будешь дома?
Скоро ли Ты перестанешь быть?

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

Купол церковки синий,
Кладбище на чужбине
В мокрых листьях берез.
Строго и домовито:
Елки чисто повиты
Мелким бисером слез.

На откосе пустынно
Догорает рябина.
День и робок и прост.
Эти кусты косые,
Это ли не России
Задремавший погост?

А для того, кто верил,
Жизни иной преддверье,
Встречи миг роковой.
Для неверивших — это
Сон в земле несогретой,
Скудный сон без просвета
В тесноте гробовой.

*

Склонились ветлы унылые,
Словно притихли и ждут.
Утенка зеленокрылого
Убили утки в пруду.

Убили его по праву:
Злоба всегда права...
А как он за ними плавал,
Стараясь не отставать!

Но едва заката полоски
Растопились в желтом огне
И под хлопанье крыльев жестких
Одинокий пруд побледнел —

Еще трудно было поверить
И страшно мне разглядеть
С серебристым отливом перья
На потухшей зимней воде.

*

Как в романсе: разбито, роспито,
Никому не нужны, никому...
Мы давно кандидаты в госпиталь,
Сумасшедший дом и тюрьму.

И, вступая, басит контральто,
Дрогнул свечки тлеющий прут.
Это лист бежит по асфальту
На худом осеннем ветру,

Это крышка хлопнула в зале,
И сорвалось верхнее ля —
Одиночество и так далее,
И зачем судьбу умолять!..

Вновь на поезд мы опоздали.

СТРАНА МОЯ

Трубы парохода
повели беседу,
Искры, догорая,
умчались в пустоту.
«Мама, посмотри,
опять деревья едут»,
Девочка пугливо
шептала на борту.

И, вправду, берега
бежали неустанно,
На нас виноградники
струилися с высот,
И нивы, и луга,
и светлые баштаны
Вбирал обезумевший
речной водоворот.

Смеялись кочегары
в пылающем застенке,
И кашель капитана
на версты был знаком,
А розовое солнце
платок переселенки
И тучи дождевые
вязало узелком.

Страна, моя страна,
Глаза твои орлиные,
То гром и глубина,
То тихое жилье . . .
Глаза твои орлиные,
А сердце голубиное,
Равнинное,
Стремнинное
Сердце твое!

ЭТА АМЕРИКА

В небе курганы, курганы, курганы,
Горы тяжелого небытия,
А по земле золотой Мичигана
Стелется дымом отчизна моя.

Луг удивляется, нем и нескошен,
И колокольчики, нет им числа . . .
Вот муравей с непосильною ношей,
В сердце шиповника злая пчела.

Тычет теленок шершавую морду
Прямо в кустарник свирепо-густой.
«Эй, подвези-ка»,— столетнему форду
Делаю знак на дороге пустой.

Едем равнинами, едем полями,
Перебежал нам дорогу русак.
И куропатка взвилася, как пламя.
Под удивительными парусами
Входим в предместий сухой
полумрак.

В город медовый и набожно чистый,
В липовом, голубоватом пуху.
Справа баптисты,
Внизу методисты,
Епископальный собор наверху.

Рельсы, разъезды, висячая будка,
Стены в мерцании маленьких роз,
И тишине подвывающий жутко,
Весь в огневых светляках паровоз.

Едем лощинами, едем лесами,
Слышен вдали нарастающий гром,
Бросились тени вдогонку за нами,
Под ослепительными парусами
Тучи лежат, как седой бурелом.

В чаше зеленого света сердитого
Дуб отражается полуслепой,
Эти пролеты глазами сосчитывай,
Эти ложбины рессорами пой.

Версты, весну, и ворон, и во тьме реку,
Эту дорогу колесами пей,
Эту Россию и эту Америку
В необозримом разгоне степей.

АННА ПРИСМАНОВА

РУКА

Не разбираясь в бронзовом товаре,
я попытаюсь рассказать о нем:
о той руке, что стынет на бульваре —
на северном бульваре, на Страстном.

Бывает пясть из мрамора и меди,
из бронзы, не имеющей страстей . . .
Одна из них на дружеском обеде
была живой — из мяса и костей,

чтоб кровью напоенная здоровой,
зимой не застывать как истукан,
а трепетать на стане Гончаровой,
с приятелями поднимать стакан,

снимать нагар с мягкосердечной свечки
и, выпустив неверный пистолет,
упасть на белый снег у Черной речки . . .
но в бронзе встать для нас чрез много лет.

КУЗНЕЦ

Лишь кость чиновника сидит
над беспросветными листами,
а кровь его в окно глядит
на осень с красными кустами.

Пусть куст — как пламень за стеклом,
как камень — долг, трудов виновник . . .
С люстриновым своим крылом
похож на ворона чиновник.

Он гнет над знаками скелет,
без воли, без негодованья,
но кровь его — лелеет след
от прошлого существованья.

Была чернильница пуста,
гусиные летали перья,
и возле зелени листа
гуляли дикость и доверье.

Там, с ярким жаром пред лицом,
он был в нездешнем освещеньи —
он был цыганским кузнецом
в предшествующем воплощеньи.

БАБУШКА

Изъяны предков достаются детям,
и внучка болью бабушки больна.
Любовью звали бабушку, и этим
моя судьба предопределена.

О, бабушка, жила ты в желтом доме,
где рукава сходились на спине.
Остался желтый облик твой в альбоме,
а рукава — ты завещала мне.

Как два пути с единым назначеньем,
живут во мне раздельно кровь и кость.
Стремится кровь к тебе своим теченьем,
но кость моя — тебе незваный гость.

Лишь только ночь подходит к изголовью,
два дерева меня на части рвут.
Быть может и меня зовут Любовью,
но я не знаю, как меня зовут.

ЛОШАДЬ

Мы ночью слышим голоса
и явно видим все что было.
К нам каждой ночью в три часа
приходит белая кобыла.

Не в силах ига превозмочь,
безвольно, но неутомимо,
живая лошадь, в три точь-в-точь,
как призрак проезжает мимо.

Ее железная стопа
покорно цокает о камень.
Она не спит, она слепа:
глаза ей выел некий пламень.

За ней цилиндры молока
качаются в пустых бульварах.
Луна взирает свысока,
не беспокоясь о товарах.

Фургон подобно кораблю
колышется на двух колесах.
Не знаю, сплю я иль не сплю —
я забываю о вопросах,

о всех запросах бытия,
о днях грядущих и прошедших . . .
Мне кажется тогда, что я
окончусь в доме сумасшедших.

ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ

Лежу в траве, раскинув руки,
В высоком небе облака
Плывут — и светлой жизни звуки
Доносятся издалека.

Вот бабочка в нарядном платье
Спешит взволнованно на бал,
И ветер легкие объятья
Раскрыл и нежную поймал.

Но вырвавшись с безмолвным смехом,
Она взлетела к синеве,—
И только золотое эхо
Звенит в разбуженной листве.

Блаженный день, неомраченный
Ничем,— тебя запомню я,
Как чистый камень драгоценный
На строгом фоне бытия.

*

Старичок-огородник не будет
По тропинке спускаться сюда,
Ранним утром меня не разбудит
Свистом чистым, как пенье дрозда,

Мирным стуком, знакомой вознею,
Шумом льющейся в лейку воды:
Он лежит глубоко под землею,
И могилы кругом и кресты.

Но цветы на его огороде
Раскрываются легкой семьей,
Теплый ветер меж грядками бродит,
Прилетает пчела за пчелой.

И подобно таинственной славе
С неба медленно льется заря
На кусты, на траву и на гравий,
На забытой лопате горя.

*

В открытом поле, на тропинке,
Лежит тихонько мертвый крот
И солнце по мохнатой спинке
Потоком ласковым течет.

Спи, маленький! Как все земное
И ты прошел средь бытия
Своей бесхитростной стезею,
И жизнь окончилась твоя.

Чем станешь ты? — Травой зеленой,
Иль повиликой полевой,—
И в летний день с певучим звоном
Пчела взовьется над тобой.

И мягкий бархат шкурки темной
И тельце малое войдет
Все в тот же мощный и огромный,
Таинственный круговорот,

В ту сокровенную стихию,
В тот мудрый и высокий строй,
Откуда образы земные
Выходят чудной чередой.

*

Безлюдный сад за невысоким домом.
На крыше, на деревьях, на дорожке,
Далёко виден след крестообразный
От птичьих ножек. Тишина и солнце.
Вот что-то там, в кустах захлопотало,—
И с ветки снег обрушился пушисто.
И снова тишина. Там на скамейке,
Задумавшийся юноша кудрявый
В расстегнутом лицейском сюртуке
Сидит и смотрит. Крепкого мороза
Не замечает он,— как будто в этой
Холодной бронзе медленно, упорно
Такое сердце продолжает биться,
Которого остановить не в силах
Стремительного времени полет.
О чем он так задумался глубоко?
Вокруг него большая тишина.
Холодный, чистый воздух.
                                        На граните
Нестертые видны слова и строки:
«Друзья мои, прекрасен наш союз,
Он, как душа, неразделим и вечен».

*

Как в этой жизни бедственной
и нищей
Мы все живем угрюмо, не любя.
О, если б знали мы, насколько чище,
Насколько лучше мы самих себя!

Дитя смеется, и его веселый
И чистый голос обличает нас:
За косный дух, упрямый и тяжелый,
За жесткие морщины возле глаз,

За жалкое, безрадостное знанье
О том, что всё проходит, как трава...
Нам всем даны прямым обетованьем
Простые и великие слова

О чистых сердцем, милостивых,
кротких,—
Нам, никому другому: мне, тебе...
Зачем же эти несколько коротких,
Поспешных лет проводим мы в борьбе,

В недоброй суете, в ожесточенье,
Мы земнородные, чьи голоса
Могли б вмешаться в ангельское пенье,—
И только оскорбляют небеса?

СЕРГЕЙ РАФАЛЬСКИЙ

ВЕРСАЛЬ

Над Версалем зеленеет небо —
осень . . .
Как всегда —
я здесь прошедшим пьян . . .
Как всегда —
скучая на откосе
мраморная Геба
свой фиал с амброзией подносит
жвачным толпам праздничных мещан.
О, Европа!
Нежная царевна,
что ломала бровки мукой гневной,
покоряясь дерзкому Быку,
а потом божественным наследьем —
в пляске муз и в боевой крови —
показала всем земным соседям,
что достойна Зевсовой любви . . .
А теперь —
дебелотелая,
сытая, умелая
(и всегда с клиентом начеку)
седину замазав рыжим цветом,
в лаковых копытцах ковыляя,
в парке предков празднично гуляешь,

соблазняешь перецвёлым бабьим летом
и трещишь сорокой на суку...
И на фоне садов раззолоченных
средь единственных, как Джиоконда,
куртин —
оскорбительнее пощечины
господин,
манекен с несложным механизмом,
с бутербродным радикал-социализмом
твой супруг —
свободный гражданин!
Для него ль в тысячелетьях жили
гордые, как из огня литые —
возводили на зеленом Ниле
царские громады пирамид,
уносили чуда золотые
из заклятой рощи Гесперид,
тесным строем в мире шли герои,
Одиссей, отплыв от пепла Трои,
всех морей глухую мерил синь,
пел Гомер, рассказывал Виргилий,
Фидий в мрамор обращал богинь,
сказочно мерещилась Эллада
снам гиперборейского номада,
и щитом спартанским Фермопилы
пред царя царей несметной силой
запирал бесстрашный Леонид,
Цезарь ждал зарю кровавых Ид,
и в снегу, медвежьей силе рад,
бородатый скиф сажал на вилы
славой избалованных солдат?..

. . . Над Версалем вечереет —
осень . . .
В аллеях —
листья шуршат, как ушедших шаги . . .
И кажется, что на откосе
веером веет . . .
Не украшай бытия и не лги!
Это ветер вздымает и носит
бумагу от бутербродов —
мирное знамя свободных народов . . .
И трудно поверить, что есть еще
в мире герои,
ныряющие в косматое море, чтоб помочь
потерпевшим крушение,
что летчики задевают горы и разбивают
аппараты на глетчерах,
чтоб спасти альпиниста без сил,
и что даже в сиянии этого вечера,
где-то уже прозябают, как зерна
в подземном покое,
участники небывалого приключения
на планетах, которых пока телескоп
не открыл . . .
Трудно поверить!
Что дым в бесконечность,
вечер осенний уходит прочь . . .
И вот уже падает ночь
пустая, как вечность,
где ни в одном окне свет не горит,
в паркете квадрат ни один не скрипит,

даже не бродит бесплотный дух,
не шебаршит и голодная мышь —
мир нем —
                мир глух —
                                мертвая тишь.
Вечная память всем!..
... Но, как жестокое, кровью налитое око,
смотрит с Востока
Звезда Рока...

ЕЛЕНА РУБИСОВА

ВЕСЕННЕЕ

Радость жить, это значит — дышать
Полной грудью, как дышит море,
Ничего не искать, только ждать
Встречной радости в каждом взоре.

Каждый лик чудесен и нов,
Как рукою сняло заботы.
В жилах новая яркая кровь,
В жилах — мед, а тело — как соты.

Под собою не чуешь ты ног,
Как на крыльях, несет тебя радость.
Много ль надо? Хлеба кусок,
И вода и чудесная сладость,—

Сладость жить. Чудесного ждать
В каждом взоре и каждой песне.
Ничего не искать и не брать,
Только верить, что будет чудесней!

МЕФИСТОФЕЛЬ

Как ребенок из кубиков лесенку
Воздвигает в дворец своих снов,
— Старый негр спел английскую песенку
Из наивных и дерзких слов.

Обещал он поля елисейские
Всем, кто чтит королевский закон:
«Сапоги ты получишь гвардейские
И машину чудес — граммофон».

Мне не надо сапог удивительных,
Мне не надо поющих труб.
И в раю твоем соблазнительном
Не ищу я румяных губ.

Знаю я: негритянскою кожею
Ты оделся на этот раз,
Мефистофель! Но новой одежею
Не укроешь горящих глаз.

“You remember“. И адской улыбкою
Искривился рта уголок.
Хочешь душу серебряной рыбкою
Зацепить на ржавый крючок?

И опять, хоть пламя потушено,
Шевелится пепел тоски:
Неужели миры разрушены
Мановеньем черной руки?

*

Черный ворон спел мне песню
О прекрасном райском саде.
В том саду, как бархат небо,
Бархат черный.
В том саду, как очи звезды —
Речь без звука.
В том саду деревья стройны —
Тополь белый.
У корней, как привиденья,
Реки обернулись.
В том саду росла осина,—
Не дрожали листья;
На осине сидя, ворон
Песнь свою пропел мне.

ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ

МОСТ

Под аркою железною небес
На пристани, где свален мертвый
лес,
Под аркою воздушною моста —
Без имени, без счастья, без креста,

Они похожи на больных зверей,
Уснувших в теплой сырости камней,
Гранитною стеной защищены
От света леденящего луны.

В высоких берегах течет река,
Стремительна, мутна и глубока,
Вот, поднимаясь, заливает мост,
Доплескивает пеною до звезд.

По мутным волнам в небо уходя,
Качается гранитная ладья,
Несет волна, взбегая на волну,
Бродяг и проституток в вышину.

В глубоких нишах спят,— к спине спина,
Им снится много мяса и вина,
Веселый праздник — лунный диск
дрожит,
Пластинкой граммофонною кружит.

За стойкой улыбается патрон,
Горячий кофе наливает он,
В высоких залах, в райской тишине,
Тепло на белоснежной простыне.

Течет река в небесные сады,
Покамест Ангел утренней звезды,
Чтоб душам в небесах не утонуть,
Большим крылом не перережет путь.

Над миром поднимается рассвет,
На темных лицах брезжит влажный след,
В пустое небо поднимая пыль,
Промчался по мосту автомобиль.

*

Ты помнишь счастье, что живое билось,
Как пойманная ласточка в руках,
Ты помнишь — море звездами
светилось,
И звезды отражались в небесах.

Ты помнишь мир огнем и чудом полный,
Как, содрогаясь, отрывался он
От берегов и плыл в лучах, как сон,
Тонул в волнах и вновь всплывал
на волны.

Ты помнишь ли, как мы с тобою шли,
Не видя смерти и не зная страха,
Уже почти не задевая праха,
По самой грани неба и земли.

Ты помнишь ли? Иль ты уже забыла,
Как я тебя любил, как ты меня любила.

*

Никогда я так жалок не был,
Так бессилен, смешон и нелеп.
Мне снилось черное небо,
Мне снилось, что я ослеп.

О, тяжесть слепой печали,
Память земного дня,
Невидимые — кричали,
Бежали мимо меня.

О, страшная смерть без тленья,
Ненасытный червь темноты...
Я к Богу взывал о спасеньи —
Но мне отвечала ты.

Чем голос был глуше и тише,
Тем явственней был ответ:
«Милый, я слышу, слышу,
Милый, спасенья нет!»

*

Над Черным морем, над белым Крымом,
Летела слава России дымом.

Над голубыми полями клевера,
Летели горе и гибель с севера.

Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом,

И Ангел плакал над мертвым ангелом...
— Мы уходили за море с Врангелем.

*

Твой взор равнодушный и узкий,
И зоркий в своем полусне,
И счастье калмыцкое в русской
Несчастной и дикой стране.

Соленые ветры, ненастье,
Степная, безмолвная тишь . . .
Любовь, что ты помнишь о счастье?
Звезда, для кого ты горишь?

Таисии Смоленской

Оттого, что я тебя люблю,
Ласточку веселую мою,

Мой чудесный золотой цветок,
Мой, в аду не тающий, ледок,

Мой глубокий вздох, мой легкий стон,
Мой прекрасный, мой предсмертный сон.

Оттого, что я люблю тебя,
Погибая и тебя губя,

Там, на запредельных высотах,
В недоступно близких небесах,

Благостна, печальна и светла
Божия улыбка расцвела.

ЮРИЙ СОФИЕВ

Что же я тебе отвечу, милый?
Скучно по традиции соврать?
В этот день холодный и унылый
Я пойду соседа провожать.

Жил да был сапожник в нашем доме.
Молотком по коже колотил,
За работой пел, за стойкой пил.
Жил и жил себе. Вдруг взял, да помер.

Омывают женщины его.
Заколотят гроб. Сгниет покойник.
Милый мой, оставь меня в покое —
Больше я не знаю ничего.

*

Как трудно жить с растерянным соз-
нанием,
Как трудно жить без настоящих дел.
Должно быть одиночества удел
Судьбой дарован нам, как испытанье.

Мы изменить не в силах ничего,
Мы ходим на работу и на службу.
А наша утешительная дружба
Не утешает ровно никого.

Расходятся с кем было по пути.
И с каждым днем, и с каждым новым
годом
Нам нашу вынужденную свободу
Все безотрадней и трудней нести.

*

1

Этот день был солнечен и ярок.
Помнишь, колосилось поле ржи.
Как судьбы нечаянный подарок —
Этот день у солнечной межи.

Были слышны нам на расстоянье
Детский смех и крики на реке.
Здесь же — близкое твое дыханье,
Здесь же теплая рука в руке.

Девичьею легкою походкой
К перевозу шла ты напрямик.
Легким золотом дрожал у лодки
Солнечный, живой, горячий блик

Сели, и плечо откинув за борт,
Руку повела ты бороздой,
И сказала, улыбнувшись слабо:
«Что же делать, мне пора домой».

2

Тот городок в апреле поневоле
В сирени окончательно увяз.
Сияние твоих счастливых глаз,
Сиянье нестерпимое до боли.

Но как нам годы поравнять с тобой?
Твои и надвое помножить мало.
Я шел один. Бежал туман ночной
И утро беспощадное вставало.

3

Шумели сосны в эту ночь прощанья
И нашу встречу скрыл ночной покров.
Твоя рука в моей. Твое рыданье,
Глубокое рыдание без слов.

И в памяти моей — живой и вечной
Остались навсегда — тепло руки,
Отчаянно беспомощные плечи,
Барак и бранденбургские пески.

П. СТАВРОВ

РЕКА

Уже запутавшись в сетях,
Очередьми перебегая,
На запрокинутых огнях
Река плывет, как неживая.

Ей сквозь туман, как летний бред,
Ей, сквозь вуаль недоуменья,
На утро, в пять, чуть брезжит свет
Уже шептать про наводненья.

Ей просыпаться, скажем, в пять,
Сквозь блеск и всхлип перемогаясь,
Ей про ненастье бормотать,
Свинцовым холодом вздуваясь.

Ей, спотыкаясь о мосты,
Под плеск ночных недоумений
Переворачивать листы
Несовершенных преступлений.

На черных сваях, наспех, вплавь,
Без оправданий, без допросов,
Пока пугающая явь
Не встанет призраком белесым.

*

Все на местах. И ничего не надо.
Дождя недавнего прохлада,
Немного стен, немного сада...

Но дрогнет сонная струна
В затишьи обморочно-сонном,
Но дрогнет, поплывет — в огромном,
Неутолимом и бездонном...

И хоть бы раз в минуту ту
Раскрыв глаза, хватая пустоту,
Не позабыть, не растеряться,
Остановить,
И говорить, и задыхаться...

*

Как дымок, расплывается прочь
Синекрылая, легкая ночь,
    Если звезды мерцают светлей,
    Если ветер сорвется с полей
    И вздувается синью река
        И прозрачней, чем звезды,
                                        тоска...

Но смешней декорации нет,—
В скучноватый, печальный рассвет
Суматошный врывается свист
    И кружится отчетливей лист.

Семенит, просыпаясь врасплох,
Пароходик, смешной скоморох,

И мотор на реке
                        та-та-та...
                        та-та-та...
Пустота, пустота...

ЛЕОНИД СТРАХОВСКИЙ

ОКНО

Вот так, бывало, у окна
И долго и напрасно
Она ждала. Была видна
Заря полоской красной.
И ветер легкий тихо пел
Одну и ту же песню.
И голос плакал и скорбел
О том, что кто-то
 не посмел
Устроить мир чудесней.

МОЕЙ ЛЮБВИ

Моя любовь, как снежная вершина,
Бела, далека, холодна.
Моя любовь, как горная стремнина,
Неисчерпаема до дна.

Моя любовь, как яркий день весенний,
Незабываема, ясна.
Моя любовь, как осени последней
Глоток янтарного вина.

Все в ней, и ею все, как я, объято
В неисчислимости огней.
Моя любовь восхода и заката
Все для меня и я весь в ней.

МОЛИТВА

Маленькие деревья
Не выше моего роста.
Боже, помоги неверью,
Спаси от погоста.

Карликовые березы,
Сосны их не выше.
Видишь ли эти слезы?
Боже, плач мой услыши!

Жесткие, горькие травы
И песок под ногами.
Если слова Твои правы,
Смилуйся над нами.

Бледно-линялое небо
Над водой сине-черной.
Дай мне небесного хлеба,
Смири дух непокорный.

А за водой подымают
Горы угрюмую свору.
Жизнь, как свеча, тает;
Боже, спаси от позора.

В вечность уходит море,
Небо уходит в вечность;
Но песок, березы, горе,—
Ведь это Твоя человечность.

Господи, дай силы,
Спаси и помилуй.

ГЛЕБ СТРУВЕ

Я в гору шел. Закатом рдели,
Желтели, лиловели небеса.
— О, жизнь без смысла и без цели!
О, времени губящая коса!

Как стражи страшные, деревья
Хранили сон отверженной земли.
— О, мир, забытый Богом в гневе!
Корабль, застывший грузно на мели!

Закат погас, и мглой свинцовой
Ночь навалилась на уснувший мир.
— О, дуновенье тьмы суровой!
Последней смерти невозбранный пир!

*

Полусон, полуявь. Легкой стаей
С губ твоих долетают слова
И баюкают, и усыпляют,
И кружится слегка голова —
От вина, от любви, от чего-то,
Я не знаю и сам, почему,
Но я знаю, подходит дремота,
И во сне я, быть может, пойму.

Ведь во сне будет все очень просто:
Надо мной прозвенит стрекоза,
Я увижу мохнатые звезды —
То не звезды, должно быть глаза,
И соленые, терпкие губы
Прикоснутся так нежно ко мне,
Чей-то голос, как ангелов трубы,
Пропоет о далекой весне...

Полусвет, полусумрак. За шторой
Спит притихший, таинственный сад,
А под ним прихотливым узором
Разноцветные звезды горят.

*

Журчит ручей, с камней сбегая,
Суля отдохновенье сна.
Однообразная, ночная
Висит над миром тишина.

Фонарь на одинокой башне —
Как чей-то сонный желтый глаз.
С неутомимостью всегдашней
Ручей лепечет свой рассказ.

И, околдован, убаюкан
Ночною музыкой ручья,
Своих шагов не слыша стука,
Я думаю: какой порукой,

Каким веселым колдовством
Судьба связала нас узлом?
Твоя, моя ли, или чья?
И шепчет мне ручей:
«Ничья».

*

Смотри: два ястреба кружат над нами,
То возносясь, то упадая вдруг.
Душа, завороженная кругами,
Сама вступает в их волшебный круг.

И долго длится мерное круженье
Над странно-дивной и чужой землей,
Пока душа, во власти сновиденья,
Не обернется светлою звездой.

И вот, смотри: вверху, недостижима,
Земле чужая и земным делам,
Творя хвалу небесным серафимам,
Свершает путь по заданным кругам.

В. СУМБАТОВ

В костре заката тлеют головни,—
Их не покрыл еще вечерний сизый
пепел.
Еще не блещут звездные огни,
И месяц молодой воды из речки
не пил,
Но уж не ярче, а темней небес
На сельской колокольне крест.

Смывает вечер яркие мазки
С картины дня росою холодящей . . .
Час непонятной сладостной тоски,—
О чем — Бог весть! О жизни
уходящей?
Иль о нездешней жизни, о иной,—
Где крылья у меня сияли
за спиной? . .

АПЕЛЬСИН И ЯЙЦО

В. А. Смоленскому

Иссохший, легкий, с бронзовою кожей —
Он мал и тверд, но это — апельсин,
В моем саду он созревал один,
На золотое яблочко похожий.

Был полон куст цветами для невест —
Цветами подвенечного убора,
Но лишь один дал плод, другие скоро
Осыпались, развеялись окрест.

Храню его, а он благоуханье
Свое хранит — свой горький аромат,
Встряхнешь слегка,— в нем семена
стучат
И будят о былом воспоминанье.

И вижу я пасхальное яйцо,
Полвека пролежавшее в божнице
У няни, и мелькающие спицы
В ее руках, и доброе лицо.

«Со мной им похристосовался Гриша,
В ту пору — мой жених»,— начнет она
рассказ,
И снова я,— уже не в первый раз,
О Грише — молодце и хвате — слышу.

Жених, солдат, потом — война, поход,
И Гриша никогда к невесте не вернется!..
А няня, рассказав, вздохнет и улыбнется
И, взяв яйцо, над ухом мне встряхнет.

В сухом яйце постукивает что-то...
«Кто в нем живет?» — спрошу я чуть
дыша
И няня скажет: «Гришина душа!»,
И вновь яйцо положит у киота.

*

Раскроешь Пушкина, читаешь с умиленьем:
«Редеет облаков летучая гряда» . . .
И вдруг оглянешься с тоской, с недоуменьем,—
Да было ль это? Было ли когда?

Да, было! Вон она — на дне гнилой пучины
Былая красота погребена,
А на поверхности — узоры смрадной тины
Да пузыри, взлетевшие со дна.

ОСЕННИЕ КРАСКИ

Уныло стлался луг бескрасочным ковром,
Понурясь лес стоял, безжизненный и бурый,
Душил красу земли, гасил цвета кругом
Сын октября — туман, слепой, холодный, хмурый.

Но солнца яркий луч,— как золотистый жук,
Прорвавший паутин натянутые сети,—
Пронзил тумана муть, взглянул на лес и луг,
И вспыхнули они в живом горячем свете.

Все — золото, парча, багрянец и янтарь,
И капельки дождя — как камни дорогие!
Осенней ризы блеск! Так одевались встарь
В торжественные дни владыки Византии.

ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР

Остановка в пути. Тишина.
Или поезд наш в поле забыли?
Или снова отсрочка дана?
О, как много мучительных «или»!

По откосам ромашки цветут.
Много птиц, как когда-то в ковчеге . . .
Может быть, уцелеем мы тут,
И колеса крестьянской телеги

Повезут по зеленой меже
На окраину гнева и мести,
Если только не поздно уже
И не ждет за околицей вестник.

*

Лишь сосны молодости нашей
Под южным небом все шумят.
Голодный ветер море пашет
И чайки за кормой летят.

Все вечное не изменилось,—
А мы проходим и пройдем.
Одно мгновенье что-то снилось
И сердце падало и билось,
И пело только о своем.

*

Жужжат шмели над веткою вишневой,
Вернулся соловей на старые места,
И кошка дряхлая своим котенком
новым,
Как первенцем желанным, занята.

Смоковница согбенная оделась
Плащом зеленым и в давно сухой,
Заброшенный колодезь загляделась
С весенней мукой, нежностью,
тоской.

Все помнят корни о подземной влаге,
О звонких ведрах, юных голосах,
Перекликавшихся, как соловьи в овраге,
Пока любовь стояла на часах.

*

Былое — вырубленный сад,
Где пни, обрубки и могилы.
И все мучительней разлад
Меж тем, что есть и тем, что было

И уцелевших не узнать
И встречи, словно расставанья . . .
Возьмешь знакомую тетрадь —
Чьи тут пометки, восклицанья?

Каких пришельцев карандаш
По милой проходил странице?
Вот этот завиток — «не наш».
Вовек с ним сердцу не сродниться!

Когда же все-таки найдешь
Черту нетронутую, слово —
С какой к ним жаждой припадешь
Вернуться к прежнему готова.

ЮРИЙ ТРУБЕЦКОЙ

Над бедной землею так ясно,
Морозно и звездно-светло,
Что смотришь уже безучастно
На вечно гнетущее зло.

И даже вот эта поляна
Покрытая бурой травой,
И музыка из ресторана
Мне кажутся жизнью иной.

И кажутся вестью нездешней
Слова, что известны давно.
И вот на земле этой грешной
Все радостью озарено.

*

Когда-нибудь увижу наяву,
То, что во сне так часто, часто вижу —
Пахучий ветер ляжет на траву
И все вокруг нежнее будет, ближе.

Но вряд ли... Может быть осенним днем
Пройдут вагоны мимо, с тихим шумом,
Уедет кто-то, может быть, о ком
Всю жизнь продумал неотвязной думой.

Когда-нибудь...
Предгрозье. Облака.
В саду тюльпаны ветер обрывает
И, равнодушно, времени река
Мечты мелькнувшие смывает.

*

Не разберу... Мне просто все равно.
О чем? О нужном? Или самом главном?
Ведь для меня давно все решено,
Давно уж решено. А может быть
недавно?

Что боль чужая, ужас и восторг,
Раз не мои...
Уже весною веет
Безлюдных улиц утренний простор
И это небо нежно розовеет.

*

Темный город. Темный отблеск счастья...
Как — увы! — безжалостна судьба!
Дождь ночной назойливей и чаще,
Дверь скрипит, как старая арба.

Как арба,— кавказские мотивы.
Так слова, цепляясь, все текут.
Пусть без смысла. Звуков переливы
Прозвенят, взволнуют и уйдут.

*

Чем я живу? Какая пустота!
И даже днем так дремлется и спится.
Как надоела эта суета
И книг однообразные страницы.

Встает весна, бледна и холодна.
Пылит шоссе и небо розовеет.
А эта жизнь, что свыше мне дана,
Как этот день бессмысленно тускнеет.

НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ

ГУРДА

Гурда, по-чеченски: держись.

1

На клинке блестящем у эфеса
Полумесяц тонкий и звезда.
Нет на свете лучшего отвеса,
Чем отвес твой, драгоценная гурда.
В мире нет тебе подобной стали:
Невесомой, гибкой и сухой;
За тебя мюриды умирали,
Чтобы только обладать тобой.
Ты в руке испытанной у бека
Без зазубрин разрубала гвоздь,
Рассекала смаху человека
От плеча до паха наискось.
Говорят,— и повторяют это,—
Что тебя, с заклятьем на устах,
Выковал по просьбе Магомета
В поднебесной кузнице Аллах.
Для твоей неукротимой славы
Украшенья были не нужны:
Костяная рукоятка без оправы,
В темной коже — легкие ножны.

2

Месть за сына, за отца, за брата,
За семью поруганную — месть!
Нет войны священней газавата,
Но враги безжалостнее — есть.
Над имамом флаг зеленый реет,
Весь Кавказ привстал на стременах;
Над Баклановым по ветру веет
Черный с черепами флаг.
Рассыпались всадники по полю,
С каждым смерть скакала на-обочь;
На чеченскую седую волю
Опускалась северная ночь;
Над страницами раскрытого Корана
Оседала поднятая пыль;
Казаки в аулах Дагестана,
На Гунибе — сдавшийся Шамиль.
Стала ты подругой у шайтана,
Породнилась с заколдованной рукой:
Чёрт Петрович генерал Бакланов
Самовластно завладел тобой.

3

Чёрт не спит. Ему давно не спится.
Скучно в Петербурге одному.
Старый чёрт из Гугнинской станицы
Был роднею деду моему.

И ему, предчувствуя кончину,
Он тебя на память передал.
В Петербурге умер от кручины
Сосланный казачий генерал.
Дед носил тебя, ценить умея,—
И уча потом носить меня,—
На кавказской узкой портупее
Из простого сыромятного ремня.

4

Ты одна со мною разделила
Юность бесшабашную мою,
Ты меня настойчиво учила
Нужному спокойствию в бою.
За тобой — баклановская слава,
А за мной — двадцатилетний пыл.
Подхватила нас казачья лава,
Сумасшедший ветер закружил.
Что тогда мне снилось и казалось?
Сколько раз рубил я сгоряча
Смерть свою, которая касалась
Ненароком моего плеча.
Помнишь вьюжный день на Перекопе?
Мертвый конь, разбитые ножны . . .
Много лет живя с тобой в Европе,
Ничего забыть мы не должны.

БОРИС ФИЛИППОВ

Стада овец библейские седые
И тот же хлеб, и та же горсть воды,
И тот же ужас завтрашней беды,
Неотвратимой, как глаза слепые.
И мудрая походка пастуха,
Наследника немудрого Исава,
И тяжкая прадедовская слава,
И крик предутренний провидца-петуха.

САДКО

Когда отягчится Новгород Великий грехами, разогнется тогда благословляющая горстно Длань Вседержителя в куполе Св. Софии, и разрушится град, и мутные волны Ильменя покроют его.

Легенда Св. Софии Новгородской

Серебряная рыбья чешуя
Блестит на солнце сонною кольчугой,
И невод тяжкий с мускульной натугой
Выплескивает Ильменя струя.
И рыбок былевых червонный клад
Горит в душе Садка напевной силой,
А гусель звончатых затейный лад
Дробится в песне вольной и унылой.
И радостью печальною полна,
Седого Ильменя гремит волна,
И сушит Волхова златые косы,
И церкви стройные бегут в покосы.
Волхвы-всеведы славят Новоград,
Ладьи несут в незнаемые страны,
В Индейский сон, в Варяжские туманы
И в Веденец — морской цветущий сад.
Садку не дорог зреющий покой:
Яровчатые струны стонут бурей,
И расплясался грозный Царь Морской

И топит корабли в бесовской дури.
В Софии разогнулась Спаса горсть,
И ада желтая прогнулась кость,
И в алых стогнах песенного сада
Развалины ютятся Новограда.

КРЕЩЕНИЕ В ДРЕВНЕМ НОВГОРОДЕ

Средь алых зипунов и кобеняков
Блестит узор морозной чешуи,
И в полушубках драных холуи
Корзинами выплескивают раков.
У белой церкви в бочках желтый мед
И горы златоблещущего воска,
А вот с мехами куньими повозка,
Веселый пестрых сукон хоровод.
На Волхове застывшем Иордань,
Мороз попам прохватывает глотки,
Смеются краснощекие молодки,
Поблескивают фляги пенной водки,
И толпы пьяных — в эдакую рань!
Звенит Иван Предтеча серебром,
Меняя талеры на новгородки,
У всех церквей живой торговли сходки,
И скоморохи кажут свой сором:
— Эй жги! Сегодня праздник у Ивана:
— Гляди-ко-ся, владыка в храм идет...
— Не посрамим гудошничьего сана:
— Эй, выворотти полные карманы:
— С водой из проруби попер народ.
Иван гремит крещальным песнопеньем,
И колокол восторженно звенит,
И серебро чешуйками горит,
Ганзейских немцев скучен строгий вид
В морозный праздник русского
Крещенья.

ЛИДИЯ ЧЕРВИНСКАЯ

Только с Вами. Только
шёпотом,
В удивленной тишине,
Поделюсь неполным опытом,
Памятным, понятным мне . . .

Гордым опытом бездомности,
Стыдным опытом любви,
Восхищенною нескромностью
И смирением в крови.—

— Из светлеющей огромности
Лета в городе пустом,
Две дороги: в смерть и в дом.

Холодно. Тоска бездетная
Вновь протягивает руку
Под октябрьским, под дождем . . .
А цыганское, рассветное
Предвещает ту разлуку,
Для которой все живем.

*

Хочется блоковской, щедрой напевности
(Тоже рожденной тоской),
Да, и любви, и разлуки, и ревности,
Слез, от которых покой.

Хочется верности, денег, величия,
Попросту — жизни самой.
От бесприютности, от безразличия
Тянет в чужую Россию — домой...

Лучше? Не знаю. Но будет иначе —
Многим беднее, многим богаче,

И холоднее зимой.

*

Осень — не осень. Весна — не весна.
Попросту полдень зимой . . .
Как Вы проснулись от позднего сна,
Друг непрощающий мой?

Трезвая совесть. И нет сожаленья.
Вам не понять моего удивленья.

Мне беззаконность дается недаром.
В жизни моей, ни на что не похожей,
Только свобода и боль.

Можно гулять по прозрачным бульварам,
Где покупает газету прохожий
(В Англии умер король).

Можно, конечно, вернуться домой . . .
Друг непростительный мой.

*

Все помню — без воспоминаний,
И в этом счастье пустоты,
Март осторожный, грустный, ранний,
Меня поддерживаешь ты.

Я не люблю. Но отчего же
Так бьется сердце, не любя?
Читаю тихо, про себя:
«Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется . . .»
Едва ли,
Едва ли лучше, до — печали,
До — гордости, до — униженья,
До — нелюбви к своим слезам . . .
До — пониманья, до — прощенья,
До — верности, Онегин, Вам.

А. С. Б.

Когда-то были мы — и бедняки
(о них писали скучные поэты).
Мы — и больные. Мы — и старики,
любившие давать советы.

Когда-то были воля — и тюрьма:
мы, жившие по праву на свободе —
преступники, сидевшие в тюрьме.
Когда-то были лето — и зима ..

Смешалось все давным-давно
в природе,
сместилось в жизни, спуталось в уме.
Не разобрать кто молод, кто богат,
кто перед кем и кто в чем виноват,
и вообще, что значит *преступленье?*

Когда-то были родина, семья,
враги (или союзники), друзья . . .

Теперь остались только ты и я —
но у тебя и в этом есть сомненье.

*

Кто же из нас не писал завещания
(несколько слов в назиданье другим),
кто не обдумывал сцены прощания
с жизнью немилою... с ней — или с ним?

Все оказалось гораздо банальнее,
не романтический выдался век.
Не отправляется в плаванье дальнее,
не умирает легко человек.

Годы идут, забываем войну.
Старость подходит, а хочется жить —
пусть безнадежно, но только любить...
Или уехать в чужую страну,
слышать вокруг незнакомый язык.
Счастье, удача — всегда впереди,
к переселению — кто не привык...

Но почему замирает в груди
сердце?
              Как будто бы ночью
                                        пасхальной
в церкви холодный подул ветерок...
Дрогнул и вспышкою вспыхнул
                                        прощальной
тонкой свечи огонек.

ИГОРЬ ЧИННОВ

Порой, читая вслух парижским крышам
Его стихи таинственно-простые,
В печали, ночью, в дождь — мы видим,
слышим
(В деревне, ночью, осенью, в России):

Живой, знакомый нам, при свечке
сальной
Свои стихи негромко он читает,
И каждый стих, веселый и печальный,
Нас так печалит, словно утешает.

И кажется — из царскосельской урны
Прозрачная, хрустально-ключевая
Течет струя свободно и небурно,
Курчавый облик ясно отражая.

И полной грудью мы грустим,— но
счастьем,
Как вдохновеньем, безотчетно мудрым
Наполнен мир, и стоит жить и, настежь
Открыв окно, дышать парижским
утром.

*

К луне стремится, обрываясь,
Фонтан, — как в бурю кипарис,
Когда луна — почти живая.

Озера то иль острова,
Иль облака, иль птичья стая?
Фонтан, фантазия, каприз.

Сквозь лунное очарованье
Кровать плывет куда хочу —
По блеску крыш, как по ручью.

Полоски дыма там, вдали —
Как оснеженные тропинки,
И мы гулять по ним пошли —

И говорили без запинки
Ночными странными стихами,
И долго звуки не стихали,
Уже неслышные с земли.

*

О Воркуте, о Венгрии (— о чем?),
О Дахау и Хиросиме . . .
Да, надо бы — как огненным мечом,
Стихами грозными, большими.

Ты думаешь о рифмах —
пустяках —
Ты душу изливаешь — вкратце,
Но на двадцатый век тебе в стихах
Не удается отозваться.

И если отзовешься — лишний труд.
Не будет отзвука на звук.
Стихи, стихи — их даже не прочтут.
Так пар уходит в зимний воздух.

И все-таки — хотя десятком строк,
Словами нужными, живыми . . .
Ты помнишь, есть у Пушкина
«Пророк»:
О шестикрылом серафиме.

*

Угрюмая тень
Становится отблеском света.
Меж тенью и отблеском
Сходство почувствовал ты?

В тяжелых дровах
Таилось легчайшее пламя.
Быть может, и правда,
Что в теле таится душа.

Быть может, и жизнь
Прозрачным бессмертием станет
(И уголь алмазом,
И капля смолы янтарем).

Недаром печаль
В стихах превращается в счастье,
Над черной землею
Распускается белый цветок.

ГОЛОСА

— Я все еще помню Балтийское море,
Последние дни перед вечной потерей.
— И кружатся звуки, прозрачная
стая,
Прощаясь, печалясь, печально играя.

— Мы берегом светлым вдвоем
проходили,
Вода на песке становилась сияньем.
— И ясные волны к ногам подбегали,
Прощаясь прохладным, прозрачным
касаньем.

— О, если б тогда, посияв на прощанье,
Летейскими стали балтийские волны!
— О, если бы стал неподвижно-
безмолвный
Закат над заливом завесой забвенья.

— А впрочем, я реже, смутней
вспоминаю.
Журчанье беспамятства громче
и слаще.
— И звуки теней над померкшей водою
Лишь шёпот. Лишь шелест. Лишь шорох
шуршащий.

*

Вечный образ: счастье — ветер в поле,
Дым, растрепанный дождем.
Мы живем в заботе, страхе, боли;
«Человек для слез рожден».

На кого надеяться? на эти
Грозовые облака?
На глухое небо в смутном свете?
На лучи издалека?

На мерцанье над ночной дорогой,
По которой мы во мгле пройдем? . .
И в ответ — молчанье, да немного
Погрохочет гром.

АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР

Настанет срок (не сразу, не сейчас,
Не завтра, не на будущей неделе),
Но он, увы, настанет этот час,—
И ты вдруг сядешь ночью на постели
И правду всю увидишь без прикрас
И жизнь — какой она на самом деле . . .

*

Как нам от громких отучиться слов:
Что значит «самолюбье», «униженье».
(Когда прекрасно знаешь, что готов
На первый знак ответить, первый зов,
На первое малейшее движенье)...

*

Неужели навеки врозь?
Сердце знает, что да, навеки.
Видит все. До конца. Насквозь . . .

Но не каждый ведь скажет — «Брось,
Не надейся» — слепцу, калеке . . .

*

Мы уходя большой костер разложим
Из писем, фотографий, дневника.
Пускай горят . . .
Пусть станет сад похожим
На крематориум издалека.

*

Не верю, чтобы не было следа
Коль не в душе, так хоть в бумажном
хламе,
От нежности (как мы клялись тогда!),
От чуда, совершившегося с нами.

Есть жест, который каждому знаком —
Когда спешишь скорей закрыть альбом,
Или хотя бы пропустить страницу . . .
Быть может также, что в столе твоем
Есть письма, адресованные в Ниццу.

И прежде чем ты бросишь их в огонь
И пламя схватит бисерные строки,
Коснется все же их твоя ладонь
И взгляд очей любимый и далекий.

*

... Наутро сад уже тонул в снегу.
Откроем окна — надо выйти дыму.
Зима, зима. Без грусти не могу
Я видеть снег, сугробы, галок:
зиму.

Какая власть, чудовищная власть
Дана над нами каждому предмету —
Термометру лишь стоит в ночь упасть,
Улечься ветру, позже встать
рассвету ...

Как беззащитен в общем человек,
И как себя он не считая тратит ...
— На мой не хватит или хватит век,
Гадает он. Хоть знает, что не хватит.

СЕНТЯБРЬ

«Ты знаешь, у меня чахотка
И я давно ее лечу».

Р. Ивнев

Первый чуть пожелтевший лист
(Еле желтый — не позолота),
Равнодушен и неречист
Тихо входит Сентябрь в ворота

И к далекой идет скамье . . .
Нежен шелест его походки.
Самый грустный во всей семье
В безнадежности и в чахотке.

Этот к вечеру легкий жар,
Кашель ровный и суховатый . . .
Зажигаются как пожар
И сгорают вдали закаты.

Сырость, сумрак. Последний тлен
И последняя в сердце жалость . . .
Трудно книгу поднять с колен,
Чтоб уйти, такова усталость.

Перемена людей и мест
Не поможет. Напрасно бьешься.
Память — самый тяжелый крест...
Под кладбищенским — разогнешься.

*

У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: — Да, увы,
Любили... как еще любили!..

АГЛАИДА ШИМАНСКАЯ

Борису Пастернаку

1

Твоя душа с моей сливалась чудом,
Слова и слезы падали на лист,
А голос креп и звон летел оттуда,
Звезды был свет печален и лучист.
Святая ночь над временем спустилась,
Шаги как ветер вольны и легки,

Земля и небо посылали милость,
Алмазами горели светляки . . .
Не знаю, наяву иль в сновиденьи
Иду в толпе по снежному пути,
Чтобы с другими преклонить колени
И благодать до сердца донести.

2

Она на свет не поднимала очи,
В тени печаль от дерзких берегла
И слезы проливала дни и ночи
О том, что муке не осилить зла.
Лицо твое сурово, Палестина,
Измена, кровь отмечены судьбой —

Молись и плачь, Мария Магдалина,
О камень бейся и шуми прибой.
Но час настал и ниц упала стража.
Разверзлось небо. Грозно и светло.
Любовь твоя сама тебе расскажет,
Каким сияньем сердце обожгло.

*

Окно мое на крышу,
Внизу — веселый бал.
Знакомый вальс я слышу —
Он в старину звучал

У Лариных, быть может,—
Татьяна, ты не спишь?
Для слез одно и то же
Москва или Париж.

Памяти поэтов В. и Ц.

Она и он ... Они когда-то жили,
Где царство муз и моря синева —
И замолчали, и глаза закрыли,
А ты, земля, бессовестно жива!

Весну в наряд венчальный
обрядила
И вся цветешь и снова влюблена,—
Не верю я, что благостная сила
Такой жестокой красоте дана.

Не верю, что не будет искупленья,
Когда-нибудь покаешься и ты ...
Они прошли — и не осталось тени
И даже не осталось пустоты.

. . . .

Шумит стихия, налетают волны,
Взлетают волны взмахом черных
крыл,
Глядит моряк и крестится невольно:
Чернее цвета Бог не сотворил.

И не было страшней такого вала
И горче слез соленая вода —
С какою мукой Муза провожала
Того, кто не вернулся никогда.

Погас маяк и темный берег стынет,
Забыто все, прошло так много лет,
А море Черное волнуется доныне,
Что погибающим спасенья нет.



Далеко, далеко, далеко —
Не найти тебя, не увидеть.
Разве жить без тебя легко —
Отказаться и ненавидеть!

Сколько лет, сколько лет прошло,
Ты меня разлюбить успела,
А когда-то мне песни пела
И мое берегла тепло.

Или ты изменила, Мать,
И богатство от бедных прячешь
И скупишься копейку дать —
Для того ль, чтобы стать богаче.

Народила других детей,
За борьбу — полюбила — смену...
Что страдание, что измена,
Если все для души твоей.



Куда-то мысли плыли с облаками
И плыл кораблик в кружеве волны.
Невидимыми нежными руками
Готовил краски Мастер для весны.

Но что весна и суетное лето?
Я чуда жду, мы чудом рождены.
Земля невестой напоказ одета,
Но все отдаст с покорностью жены.

Ее улыбка больше не прельщает,
С дыханьем праха ландыши слились,
И Лермонтова тучка золотая
Давно погасла, улетая ввысь.

АГЛАЯ ШИШКОВА

ИЗ СКАНДИНАВСКОГО БЛОКНОТА

Этот берег, вётлы эти,
Кружевным зигзагом сети
И фарфоровый песок,
Ветер, ветер, ветер, ветер,
И маяк наискосок.

Как все серо! Грусть иль
Чем, скажи, она полна —
нежность,
Эта мглистая безбрежность,
Эта низкая волна?

Хоть бы парус! Хоть бы лебедь!
Хоть бы в сером этом небе
Полыньёю пробить веслом —
Брызнуть солнцем в пенный гребень,
Южным солнцем и теплом.

НА ПАЛУБЕ

Море.
Ветер.
Солнце.
Грустные глаза.
Выпьем, милый,
        за какое хочешь «за»...
За далекий берег,
Невысокий дом,
Иль за то, чтоб родина —
Там, где мы вдвоем...

За гульливую по свету
Серую волну,
За — куда плывем — за эту
Не свою страну,
За — над всеми — солнце,
        что горит, любя,
За стихи,
За слово,
В общем —
        за тебя!

НОЧЬЮ

Ночь на чужбине. Тишина.
Спит небо, звездной
россыпью согрето.
Ах, почему душа до дна
Иною тишиной полна,
Иною россыпью — не этой!

А этим я чужая. Пусть!
Вот погадаю, сидя на постели,
Чтоб карты ледяную грусть
Обманом ласковым согрели.

*

Вечер смуглый, вечер лунный
Бросил росы в коноплю,
Подождите, замолчите, струны,
Дайте мне пропеть: люблю.

Не тебе, неведомый-далекий,
Не с тобою разговор в тиши —
— Вечер смуглый мне целует щеки,
Дух полынный косы распушил.

Не про ласки друга ясна-сокола
Сладко сердцу загадать,
На любовь ответить — около —
— Голубая благодать...

Вся в росе тропинка тонкая,
Под луною вздохи ковыля...
Ненаглядная моя сторонка,
Степи, родина моя!..

ГЕОРГИЙ ЭРИСТОВ

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ

В пути у дрожек лопнула рессора,
Из тучи брызнул дождь. Ударил гром.
К соседу б завернуть, тут за углом,
Да вспомнилась вдруг карточная ссора!

Но вымокнуть из-за пустого вздора!
А дождь сильней... заволокло кругом.
Свернуть скорей!.. Вот показался дом
И слышен лай сердитого трезора.

Часок спустя, откушав крепкий чай,
За ломберным, как будто невзначай,
Приятелей ждет тетушка-старуха.

Скрипит мелок. Гудит хозяйский бас,
Трещит свеча. Труба вздыхает глухо...
Гость сердится и объявляет — пас!

МЮНХЕН

Я Вас люблю немецкие Афины,
Когда-то Тютчев жил здесь много лет,
Его посмертный передать привет
Готов я Вам, веселые долины.

Порою мне кусок священной глины,
Осколок мрамора, льют нежный свет —
Забытой красоты в них скрыт завет,
И сердца расправляются морщины.

Закат зажег над городом пожар.
Зеленый плещет и поет Изар.
На ратуше удары карильона.

Но кто отыщет пламенный Грааль?
Трепещет мир и не удержит стона —
Вонзилась в грудь безжалостная сталь!

РОЖДЕНИЕ ДУШИ

Недаром в юности болеем ростом
И сердце явственно в груди стучит,
Добыть нам кажется легко и просто
К счастливой жизни верные ключи.

Тугие мускулы ведут нас смело,
А наша кровь, что красное вино;
И так беспечно молодое тело —
О будущем не думает оно!

Прильнули губы жадно к полной чаше
И пьют, не отрываясь, пьют до дна . . .
Что может быть на этом свете краше
Весеннего и радостного сна?

ИРИНА ЯССЕН

НЬЮ-ЙОРК

1

Безликий в шуме многоликом,
Безбожный в храме средь богов,
Сливаешь в гулком хоре крики
И вопль разрушенных миров.

В твоей темнице замурован
Томится непокорный дух.
В твоих пределах он закован,
К его метаниям ты глух.

Холодный в зареве пожаров,
Бездушный в схватке грозных сил,
Таишь ты в чёрноте кошмаров
Знаменья огненных стропил.

Но весь из дымного гранита
Ты гордо к небу устремлён
И звездным пламенем повито
Сиянье твоих колонн.

2

Какая власть соединила
Великолепье и размах.
Какое напряженье силы,
Победной воли и ума.

Взлетают вышки
небоскребов
В разверзшиеся небеса.
В гранитной города утробе
Неисчислимы чудеса.

Его летучие колонны,
Как стрелы в полости времен.
В его стихии многозвонной
Смешались языки племен.

Брожу по улицам нескромным
И открываю новый клад.
Гудит блистательный, огромный,
Стремительный и неуемный,
В калейдоскопе мощный град.

БЕЛАЯ ГОРА

Широкая дорога,
Ведет к высотам путь.
У Божьего порога
Легко вздыхает грудь.

Простор невыразимый.
Здесь по вершинам гор
Шагает Бог незримо,
Свершая свой дозор.

И постигаешь силу
Божественной руки,
Что эту мощь вскрылила
Над уровнем тоски.

Внизу скользящей тенью
Проходим мы на миг,
Следя в игре явлений
Сокрытый в тайне лик.

Не выразить мгновенья:
Высоты без конца.
Бессмертие творенья,
Величие Творца.

МОЯ АМЕРИКА

В борьбе за счастье создана,
Упорством прадедов сильна,
Каких волшебств она полна!

В ней сплав народов и племен
Хранит незыблемый закон:
Свободным человек рожден.

В ней конституции язык
Из недр в живую ткань проник,
И памятник отцам воздвиг.

И в грозный час сынам верна
Безбрежностью влечет она,
Благословенная страна!

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ОЦУП

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Отдел второй

АЛЕКСАНДР НЕЙМИРОК

ЮРИЙ ОДАРЧЕНКО

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

К. ПОМЕРАНЦЕВ

БОРИС ПОПЛАВСКИЙ

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

ЛЕОНИД СТРАХОВСКИЙ

ГЛЕБ СТРУВЕ

В. СУМБАТОВ

ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР

ЮРИЙ ТРУБЕЦКОЙ

НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ

БОРИС ФИЛИППОВ

ЛИДИЯ ЧЕРВИНСКАЯ

ИГОРЬ ЧИННОВ

АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР

АГЛАИДА ШИМАНСКАЯ

АГЛАЯ ШИШКОВА